

Дмитрий Скирюк

# РУНЫ И СУДЬБЫ



Руны сложились в роковой  
узор на ткани Судьбы.

Осенний Лис

Дмитрий Скирюк

**Руны судьбы**

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.161.1-312.9  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Скирюк Д. И.**

Руны судьбы / Д. И. Скирюк — «Эксмо», 2020 — (Осенний Лис)

ISBN 978-5-04-105796-1

Он пришел ночью, чтобы спасти умирающего. Он больше не воин, лишь лекарь. Жуга решил оставить борьбу в прошлом. Но как укрыться от того, что идет за тобой по пятам? Беды и испытания готовит будущее для Лиса. Теперь травника нарекли еретиком и ищут, чтобы предать огню. Друзья, которых надо спасать, девушка-сирота, которую нужно принять, заговоры, которым невозможно не противостоять. Справишься ли ты с предначертанным? Третий роман Дмитрия Скирюка – завораживающий, фантастический, но в то же время очень правдивый и трогательный – продолжает историю о травнике Жуге.

УДК 821.161.1-312.9  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-105796-1

© Скирюк Д. И., 2020  
© Эксмо, 2020

## Содержание

Никто	6
Нигде	35
Конец ознакомительного фрагмента.	63

# Осенний Лис

## Руны судьбы

© Скирюк Д. И., 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

\* \* \*

*Кукушка, кукушка, сколько мне жить?*  
***Неважно кто.***

## Никто

*Где тебя ветер носит,  
Мокрая знает осень.  
Имя никто не спросит.  
Светится иней-проседь.*

### *Ревакин<sup>1</sup>*

Мать Ялки умерла в дождливом сентябре, когда был убран урожай и наступило время свадеб. Умерла внезапно, в одночасье – что-то сделалось в груди, она упала прямо на дворе с ведром воды и больше не поднялась, лишь стонала и держалась за сердце. Ялка плакала, пыталась звать на помощь, а когда не дозвалась, сама тащила в меру своих слабых, полудетских сил тяжёлое неподатливое тело. Тащила в дом.

А за плетнём гулял народ, хмельной, весёлый – сразу три деревни породнились молодыми семьями. Гуляли третий день, срывая бабье лето, отмечая пьянкой тёплые деньки. Бродячий музыкант с огромным барабаном, похожий на большую букву «Ю», остервенело, весело лупил свинячью кожу, подгоняя ритмом деревенских плясунов. Какие-то цветочки, ленточки мелькали тут и там. Звенела музыка – волынки, дудки, скрипки... А Ялка плакала, сперва затаскивая маму в дом, потом на улице пытаясь докричаться, объяснить. Народ не понимал. Одни смеялись чему-то и на девку не глядели вовсе, другие отворачивались, уходили, а третьи и четвёртые уже лежали под забором и пускали пузыри. Из кабака вдруг вывалился Петер – маленький зубастый рыжий паренёк с соседней улицы: «Эй, что грустишь, красавица? Обидел кто или плясать не позвали? Дай поцелую, всё пройдёт!» Она отбилась, убежала. И лишь когда наткнулась в толчее на тётку Катлину, сумела объяснить.

Когда селяне всей толпой ввалились в дом, мама уже не дышала.

На следующий день дождь зарядил опять, и лето кончилось.

Совсем.

Мать лежала на столе, холодная, не похожая на себя. Уже прибрали в доме, уже покойницу успели обрядить. Пришёл священник. Ушёл. Пришёл опять, привёл других. Снимали мерку с тела, говорили о чём-то. Спрашивали Ялку. Ялка не хотела понимать, не отвечала, забиваясь в угол маленьким зверьком, лишь дорожки слёз сбегали по щекам. Её не трогали, сперва пытались утешать, но после перестали. Часто бегали во двор. Уже зачем-то мерили избу верёвочным аршином, изредка косясь на девочку в углу и спешно отводя глаза.

Потом был ход. Вчерашний музыкант уже не веселился, медленная музыка плыла в холодном воздухе, как липкая густая паутина. Чернели листья на деревьях, вниз с ветвей текла холодная вода.

Церковь.

Кладбище.

Зарытая могила.

Крест.

Вернулись поздно до накрытого стола. Заговорили разом. Три дня гулянья утомили ноги, головы и животы. Поминками заквасили похмелье, а кто остался, просидел до утра.

Оставшуюся сиротой девочку забрала к себе сестра отца. Её, уже три года как покойного, отца. Неделю Ялка убегала к дому каждый день, стояла у плетня, смотрела и ждала. Потом

---

<sup>1</sup> Дмитрий Ревакин, «Прошлое поделом».

туда пришли другие люди – молодожёны этой осени. Пришли и поселились в доме, где всегда жила она и когда-то – её мама. Деревенский староста всякий раз находил её и отводил обратно к мачехе.

Минула вечность, сбита гвоздями гроба в девять страшных дней, прежде чем Ялка поняла, что мамы нет и больше никогда не будет.

Время кончилось. В душе у девочки настала пустота.

И осень.

\* \* \*

Дороги города сбежались и немедля разбежались гнутым перекрёстком. Босые ноги быстро сосчитали тёплые булыжники мостовой, тяжёлое дыхание заметалось между сдвинутых домов. Мальчишка вылетел из-за угла, едва не поскользнувшись в луже вылитых помоев, поймал равновесие, огляделся по сторонам и метнулся направо, в узкий, прямой как спица переулок. Пробежал его насквозь и только после услышал за спиной топот преследователей. Остановился, перевёл дыхание и вновь помчался что есть сил.

Бегущие, похоже, разделились: теперь за ним бежал только один, и, судя по тяжёлой поступи, это был Оскар. Ученики его побаивались. Кряжистый, лопоухий, с большими волосатыми руками, подмастерье сапожного мастера слыл забиякой и подхалимом. Ко всему прочему, он был ещё и обладателем широкого матросского ремня с медной пряжкой, с которым управлялся виртуозно. Фриц похолодел: этот в лепёшку расшибётся, но мальчишку постарается найти. Он из последних сил рванулся туда, где в стене заброшенного дома торчали два костыля, один выше другого, подскочил, запрыгнул, ухватился и залез в разбитое окно. Оттуда, даже не рискуя выглянуть наружу, устремился вверх по приставной чердачной лестнице, которую сразу втащил за собою. По крыше осторожно перелез на дом, стоявший по соседству, оттуда – дальше, и ещё, покуда не добрался до чердачного окна, где он когда-то обустроил себе убежище. Здесь не было мансард, один чердак. Стараясь не шуршать насыпанным меж потолочных балок шлаком, Фриц забился в самый угол у печной трубы и затаился, напряжённо вслушиваясь в темноту.

Всё было тихо. Преследование, похоже, прекратилось. Во всяком случае, ни криков, ни шагов не доносилось. Мышонок юркнул в норку.

Теперь можно было перевести дух.

Фриц привалился спиной к нагретым кирпичам и посмотрел наверх, где лучики заката пробивались через трещинки в разбитой черепице. Теперь, когда погоня отцепилась, накатили злоба и расстройство. Ну что он им сделал? В самом деле, что? Всего-то-навсего – зажёл свечу, когда она погасла. Фриц как раз кроил верхушку башмака, а мастер Гюнтер был ужасно строг на этот счёт. Испорти Фриц сегодня заготовку, порки было бы не миновать, а тут Хуб возьми и зайди. Да ещё и дверью хлопнул так, что свечу задуло. А кожу на столе попробуй разгляди без света – чёрное на чёрном! Ножик дрогнул в пальцах, Фриц перепугался и, совершенно не подумав о последствиях, зажёл свечу обратно. Ну и что с того, что *словом*? Словом даже интереснее, быстрее и легче, и вообще. Не то что кремнём и огнём. И к камину ходить не надо. Да и выкройка, наверно, удалась бы, не вмешайся в дело Вальтер. Фриц невольно сморщился и потряс руками – следы от тяжёлой угловой линейки до сих пор краснели на тыльной стороне ладоней.

А только, видимо, не зря его ругала мать, когда он баловался искрами на пальцах и летающими кубиками или, например, переплавлял в ладонях сахар в леденцы для младшенькой сестрёнки – та была так рада. Только мама огорчалась всякий раз, лупила их обоих чем ни попадя, а после плакала и волокла его к распятию замаливать грехи. А Фриц не мог понять в свои неполных десять лет, за что и почему от него требуют просить прощения у бога, ведь он

не сделал ничего плохого. А потом мать гладила его и плакала, и говорила, чтобы он не делал больше так нигде и никогда. Фриц обещал и, разумеется, так больше никогда не делал.

Делал по-другому.

Снова начинались причитания и рыдания, вновь плакала сестрёнка, от которой требовали всё забыть и никому об этом не рассказывать. И всякий раз, когда соседи приходили, чтоб сообщить об очередных проделках детворы, в которых поучаствовал её сынок, мать бледнела и хваталась за дверной косяк. Но пока всё обходилось. Фриц участвовал в обычных проказах – выбитые стёкла, краденые булки, выкрашенные в тигров соседские кошки и побитые соседские мальчишки, безо всяких признаков волшебства и сатанинских огоньков и наговоров (разве только детские считалки). Он не вышел ростом, но был прыгучим, непоседливым, смышлёным парнем. Если бы только не эта его ворожба!

Сказать по правде, беспокойство матери немного притуплялось в церкви – на причастии и проповедях юный Фридрих вёл себя вполне прилично. Отвлекался и зевал, конечно, не без этого, вертелся, перешёптывался с соседями и ловил мух, но так поступал любой мальчишка в его возрасте. Он спокойно принимал из рук священника гостии для причастия и повторял молитвы, и на сердце матери теплело. Бог не отторгал непутёвого сына. Но даже на исповеди она не решалась поведать обо всех его проделках – слишком велик был страх перед дознавателями. Ведь на площади сжигали каждый месяц, и если бы хоть кто-нибудь прознал...

Немудрено, что когда ей удалось в канун четырнадцатилетия пристроить сына в обучение к башмачнику (причём не к замухрышке из холодных, что работают на улицах, а к самому мастеру Гюнтеру), она взяла с него честное слово, что он будет сдерживаться и не станет ворожить на людях, в мастерской.

Но он забылся! Просто-напросто забылся! Эта выкройка была его первым серьёзным заданием, он так гордился им! И если бы не та проклятая свеча...

Фриц вздохнул, пошарил под треснувшим корытом для раствора и извлёк наружу одеяло, свечку и засохшую горбушку хлеба. Помедлил, положил обратно кремь и огниво, укрепил огарок меж камней и прошептал короткий наговор. Прищёлкнул пальцами. Свечка вспыхнула, зажглась и озарила жёлтым светом старый чердак. Фриц против воли расплылся в улыбке: получилось! У него снова получилось! Пусть никто не видит, но всё равно – получилось.

Где-то в глубине души он понимал, что сотворил непоправимое, и в то же время был ужасно горд собой. Невелика важность – маленькие искорки: это любая кошка так может, если её долго гладить. Иное дело – настоящий, живой огонёк.

Внезапно он помрачнел. Теперь один лишь бог мог знать, какое наказание надлежит ему понести. Во всяком случае, он успел выскочить на улицу до того, как ошарашенные лица подмастерьев исказились ужасом. Он не хотел сейчас идти домой, и не потому даже, что боялся огорчить маму. Ему не было страшно, но в глубине души Фриц понимал, что в этот раз она не сумеет его защитить. Даже так: не *посмеет*. Путь домой отныне был заказан. Куда теперь податься, он не знал.

Да в конце концов, не сожгут же его за это на костре!

Внезапно Фриц похолодел: а вдруг сожгут?

Закат догорал. Сумеречный Гаммельн заметал следы. Фриц расправил одеяло, подложил под голову свёрнутую куртку и растянулся на жёстких досках. Завтра, подумал он, уже засыпая. Он подумает об этом завтра. А сейчас – спать. Спать...

Почему-то сегодня он очень устал.

И не только от беготни по улицам.



\* \* \*

У двоюродной тётки, в чьей семье жила теперь Ялка, было несколько детей. Не семеро по лавкам, как обычно в таком разе говорится, но тоже не мало – пять. Потому шестой (точнее, шестая) не стал большой обузой, равно как не стал и подмогой.

Дни были серы. Ночи...

Не было ночей. Стремясь забыться и забыть, девчонка бралась за любую работу, какую поручали. Сидела в темноте, пряла, вязала, шелушила фасоль, готовила на завтра кашу или занималась чем-нибудь ещё, только чтоб не думать и не вспоминать. Иногда удавалось.

Нельзя сказать, что мачеха была к ней зла. Наоборот, старалась проявить участие, пыталась быть с ней ласковой, ловя порою на себе неодобрительные взгляды мужа и родных детей. Но Ялка чувствовала жалость. Может, само по себе это было и неплохо, кабы за этой жалостью крылась любовь. Но как раз любви и не было. Ялка всё больше замыкалась в себе. В этом доме ей ни разу не удалось ощутить спокойствие и радость понимания того, что рядом кто-то есть, большой и тёплый, в чьи колени можно уткнуться и поплакать, когда больно, или спрятаться, когда страшно. Да она и не пыталась это ощутить. Ялка медленно, но верно разучалась плакать. Даже если названные братья обижали её, она не плакала и не кричала, не звала на помощь, не давала сдачи. С сёстрами вообще не разговаривала. Ни разу не назвала мачеху мамой, а отчима – отцом. Собственный отец ей помнился довольно плохо, вспоминались только грубые ладони, иногда – противный запах перегара, иногда – весёлая улыбка и колючие усы, пропахшие табачным дымом, если тот был в добром настроении. Другое дело – мать и дом. Замены им девочка не желала принимать и отторгала всех, включая самоё себя. Произойди потеря раньше или позже, может, всё сложилось бы иначе: детский ум умеет забывать, а взрослый – принимать удар судьбы.

Серые клубки спрядённых ею нитей громоздились в сундуках, ожидая красок и весны. Сама же девочка, казалось, тоже истончалась, прядя кудель своей души в одну такую же бесконечную серую нить. Ей неоткуда было ждать весны. Она понимала, что идти ей некуда и незачем. И становилась никем.

Прошла зима. Весна нагрянула во всей своей весёлой кутерьме, теперь казавшейся нелепой и пустой. Потом явилось лето. Ялка часто уходила за грибами и за ягодами, собирала травы, порою пропадая на целый день. Лес не казался ей загадочным и страшным, наоборот, тишина и сумрак помогали забывать. Она училась слушать и смотреть, но любопытства в этом не было. Приёмные родители не стали ей перечить. И мачеха, и отчим отчаялись понять, что делать с падчерицей, и махнули на неё рукой, принимая молчание за обиду, а нежелание вернуться в мир – за показушное презрение. Священник говорил с ней пару раз, но тоже не добился ничего. Всё чаще она ловила на себе неодобрительные взгляды поселян; порой мальчишки стайками бежали за девчонкою, бросая шишки и снежки, выкрикивая ей вослед: «Приёмная! Кукушка! Дура подкидная!»

Кто первым придумал обозвать её кукушкой, девочка не знала, да ей было уже всё равно. Она и не откликалась.

Так миновало три года. Ялка незаметно превратилась в девушку: её весна настала против воли. Горе задушило в ней побегу юношеской страсти, но когда повзрослела душа, повзрослело и тело. Она быстро вытянулась и похудела (как выразилась мачеха – «выстрелила»), на лице сильнее обозначились глаза. Красавицею Ялка не была, однако и дурнушкой тоже. Стройная, с узкой костью, она была довольно рослая для своего возраста, с приятными мягкими чертами лица, слегка курносый носиком и тёмными густыми волосами. Вот только никто не говорил ей, что она красива и желанна, тогда, когда обычно это говорят девочкам матери, подружки, а затем и женихи. В страду она работала не меньше, чем другие, на поле, на току, на маслобойне.

Кое-кто заглядывался на неё, но посиделки, вечеринки и гулянья – все забавы юной жизни Ялка пропускала мимо, а всех тех, кто у неё искал внимания и счастья, отпугивал нездешний, непонятный холод, угнездившийся в её сердце.

Жизнь в приёмной семье текла своим чередом. По осени сыграли свадьбу старшему. Хорош был урожай в этом году. Всем сородичам досталось по обнове с ярмарки, в том числе и Ялке – новый козушок. И всё равно она ощущала себя обузой. Это тяготило, это трудно было воспринять. Она и не воспринимала. Нить девичьей души тихонько размоталась до конца. Брать ей было не во что, отдавать – нечего. Иногда она чувствовала, как что-то поселяется в её опустевшей душе, как на остоле сгоревшего дома поселяются жуки и птицы, белки, мыши, но это «что-то» было не от прежней Ялки. Имя тоже умирало, уходило, растворялось в будничном «эй ты», «дочка» и «поди сюда». Она не стала удерживать его. Ей даже почему-то стало легче.

Она почти уже привыкла и смирилась, когда поздней осенью, в канун четвёртой годовщины смерти матери, произошло событие, которое заставило её нащупать ускользающую нить своей души.

А нащупав, потянуть за неё.

\* \* \*

Когда идти до дома оставалось два квартала, Фриц заподозрил неладное: уж слишком тихой, слишком безлюдной выглядела улица, обычно полная народу в это время дня. Единственный прохожий справил в переулке малую нужду, поддёрнул штаны и, с неприязнью покосившись на мальчика, поспешным шагом скрылся за углом. Осеннее солнце золотило стёкла, отражалось в лужах на мостовой. Было сыро и прохладно. Где-то в отдалении процокали копыта лошадей, четыре колеса большой кареты грохотнули по раздолбанной брусчатке, и снова воцарилась тишина. Фриц помедлил, осторожно выглянул из переулка и двинулся вперёд.

Дверь дома была приоткрыта.

– Мама? – неуверенно окликнул он пустую темноту на лестнице.

Не отозвались.

Фриц шагнул в дверной проём и нерешительно остановился.

– Мама! – вновь позвал он. – Минни! Вы здесь?

Лестница скрипела под ногами. Дом стоял нетоплен, с чердака тянуло сквозняком. Лестница, обычно вымытая и застеленная ковриком, была в грязи, дорожка сбилась, отпечатки грубых башмаков виднелись тут и там. Чуть выше за перила зацепилась голубая ленточка из сестриных волос. Мальчишка подобрал её, свернул и мимодумно положил в карман. Затем поднялся до конца по лестнице и замер на пороге в молчаливом изумлении.

– Мама...

Разгромленная комната смотрелась жалко и убого. Всё, что в ней было ценного, исчезло. И если до этого Фриц ещё таил надежду, что сестрёнка с мамой просто вышли на минутку (даже не закрыли дверь – так торопились), то при взгляде на второй этаж надежда эта улетучилась как дым. Окно было распахнуто настежь, изодранные занавески колыхались на ветру. Шлак от угля запёкся буровой горкой, до конца не прогорев, будто огонь в камине залили водой. Игрушки, кухонная утварь, скомканные вязаные белые салфетки, осколки посуды, обломки мебели – всё это страшным и нелепым образом смешалось на полу в бесформенную кучу, только рыжеватый детский мяч из тряпок закатился в угол комнаты и там лежал, растоптанный солдатским сапогом.

Почему-то этот мяч так завладел его вниманием, что Фриц простоял в оцепенении, наверное, с полчаса. Во всяком случае, пока не услышал голоса на лестнице. Но даже и тогда не бросился бежать, а просто поднял взгляд.

Их оказалось трое – стражник в чине десятника и монах, сопровождаемый служкою-писарем. Вряд ли они ожидали здесь кого-то увидеть и поднимались в комнату, ведя между собой неспешный разговор.

– Всему этому переполоху грош цена, святой отец, – с сильным баварским акцентом бубнил солдат, щедро уснащая речь излюбленными крепкими словечками, из которых «задница», пожалуй, было самым безобидным. – Чтоб эту ведьму взять, хватило б одного меня да, может, пары стражников для пущего страха, а вы всю караулку подняли... Ну да, толпу пришлось маленько разогнать, а то они б её на кусочки разорвали, вместе с девкой. Ну а разорвали бы, так не один ли чёрт, что камни, что костёр?

– Тут вы не правы, сын мой, – мягко возражал священник. – Цель нашей Материи Церкви – не наказать и сжечь еретика, отнюдь. Цель – разобраться, чья вина и где первоисточник ереси. Иначе адова зараза расплзётся по земле, и вот тогда... тогда...

Тут монах остановился и умолк, вошедши в комнату, затем победно улыбнулся и рукою указал на Фрица:

– Это он.

Гвардеец шумно выдохнул, легонько отстранил служку с монахом от двери и оказался в комнате. Был он ушат и пучеглаз, с синюшным, плохо выбритым лицом, с давнишними нашивками на рукаве простёганного серого полукафтана. Такой же серый сплюснутый берет был нахлобучен глубоко на сросшиеся брови и почти скрывал глаза. Фриц видел его мельком пару раз у городских ворот, когда сменялся караул. Ни алебарды, ни меча у стражника с собою не было, и всё же Фриц невольно сдал назад.

– Куды? – напрягся стражник. – Не сбежать! А ну, иди сюда.

– Не надо так кричать, – поморщился монах и повернулся к мальчику. – Ты Фридрих, верно? Подойди ко мне, не бойся.

Святой отец выглядел совсем не страшно. Румяный, круглолицый, в аккуратной чёрной рясе, он сверкал подбритой тонзурой и улыбался уголками губ, протягивая мальчику ладонь, короткопалую, пухлую, розовую. Однако Фриц, вместо того, чтоб двинуться к нему, забился дальше в угол. Взгляд его вновь упал на мячик у стены.

– Где моя мама? – крикнул он и стиснул кулаки. – Куда вы её увели?

– Мама? Твоя мама в безопасности, – сказал монах. – Иди сюда, нехорошо перечить старшим. Мы прогуляемся, поговорим, я распоряжусь, чтобы тебя накормили. Ты ведь наверняка голоден... Эй, ты куда? Хватайте его, Мартин!

Солдат отреагировал мгновенно, словно пёс, который ждал команды. Притопнул, заметался, перемахнул через кучу мусора и ловко ухватил мальчишку за штаны и куртку. Тот взвизгнул, попытался вырваться, но схлопотал подзатыльник, от которого у него на мгновение потемнело в глазах, и перестал трепыхаться.

– Так что, это, стало быть, поймал! – довольно доложил монаху стражник. Встряхнул мальчишку за воротник и поудобнее его перехватил. – Куды прикажете вести?

Фриц, прижатый носом к потной и засаленной подмышке, ухитрился немного повернуть голову и теперь пялился на узкий кинжал, висевший у того на поясе. В глазах плыло от слёз, в висках стучали барабаны. Ответных слов монаха он почти не слышал, только почему-то всё вертелось в голове слова, произнесённые на лестнице десятником: «так не один ли чёрт, что камни, что костёр». Язык стал сухим и липким и будто распух. А ещё через мгновение пальцы Фрица словно сами по себе сомкнулись на шершавой рукояти.

Мартин Киппер вскрикнул удивлённо, когда его ладонь перечеркнула боль, и с недоумением уставился на узкую красную полоску. Через мгновение затрещали нитки: Фриц рванулся, оставляя в лапах стражника один лишь воротник, и бросился к двери. Монах шагнул на перехват и растопырился в дверях, как вспухший чёрный крест, присел и тоже вскрикнул, когда ладонь его окрасилась кровавым. Мальчишечьи шаги скатились дробью вниз по лестнице, а на

пороге комнаты возник монашек-секретарь, одной рукой сжимающий другую. Из-под пальцев тонкой струйкою сочилась кровь.

Все трое ошарашенно смотрели друг на друга.

Стражник опомнился первым.

– Дьявольская метка! – ахнул он, глядя на пустяковую, в общем, царапину едва не с ужасом. – Смерть Христова, это отродье Вавилонской курвы порезало меня моим же собственным ножом! Пресвятая Дева, спаси нас всех и сохрани! – Десятник перекрестился, поднял взгляд. – Прикажете догнать его, святой отец?

– Не придавайте этому большого значения, сын мой, – поморщился монах, пытаясь сдвинуть края раны. – Сейчас мы уже не найдём его. Распорядитесь лучше, чтобы городская стража... Тебя тоже ударили, Томас?

Парень с чернильницей торопливо закивал, продемонстрировав разрез на рукаве, уже набухший тёмной влагой. Стражник, сдавленно ругаясь, долго шарил по карманам и наконец извлёк на свет большой матерчатый лоскут, который ловко надкусил зубами и порвал на три куска, один забрал себе, а два других отдал священникам.

– Полезная привычка, – подметил вскользь монах, перебинтовывая раненую ладонь. – Вы что, всё время носите с собой такое полотно, а, Мартин?

– Ага. Всё время, – угрюмо буркнул тот. – Это... С тех пор, как какой-то лекаришка напугал своими рассказами господина, значит, бургомистра, тот распорядился, чтобы каждый стражник завсегда такую тряпку с собой таскал. Кипячёную. Даже каждому карман распорядился на рукав нашить для тряпки этой. Хотя оно, опять же, нам же лучше – при случае хоть есть чем задницу подтереть.

– Мудрое решение, – кивнул монах. – Я не о заднице. О тряпке.

Несколько минут вся троица, сосредоточенно пытаясь, занималась своими ранами и о беглеце будто забыла. Служка и писарь – юный Томас, который никак не мог совладать с выданным ему куском бинта, оставил, наконец, свои попытки и препоручил ранение заботам старшего собрата.

– Н-не могу не позавидовать вашему сп-покойствию, брат Себастьян, – проговорил он, втягивая воздух через стиснутые зубы. – Ведь он пролил и вашу к-кровь тоже...

– То не спокойствие, то вера, – отвечал ему монах. – Поелику сказано: «Кто пострадает за Христа, обрящет царствие небесное». Молись, сын мой, и дьявольские козни будут тебе не страшны. – Он затянул последний узел и удовлетворённо осмотрел свою работу. – Однако, хитрый дьяволёнок! – признал он. – Нам надо обязательно его поймать, пока он не набрался сил и не стал по-настоящему опасен. Слышите, Мартин? Обязательно!

– Да слышу, слышу, не глухой... – Десятник зубами затянул свою повязку, встал с колена и направился к двери. – Куды он денется? Поймаем. Через два дня я вам его доставлю.

– Это если он останется в городе. А если нет?

– Останется. Куды ж ему идти?

– А кстати, это мысль. – Священник повернулся к писарю: – Томас, посмотри, что там у тебя сказано про эту ведьмину семейку?

Неловко двигая перебинтованной рукой, молодой монах раскрыл пенал и расправил смятые страницы.

– М-матильда Брюннер, – прочитал он. – Т-тридцать девять лет, вдова, работает гладильщицей в прачечной у Ганса Мюкке. Д-два сына, дочь...

– Два? – встrepенулcя стражник.

– Д-два, – невозмутимо подтвердил монашек. – Один скончался десять лет назад, ещё в м-младенчестве. Ему н-не исполнилось и года.

– Ага, понятно. Где отец?

– С-сейчас. – Паренёк перелистнул страницу, отыскал, ткнул пальцем: – В-вот. Отец был каменщик, Макс Брюннер, п-погиб пять с половиной лет тому назад, когда перестраивали фасад у г-городской ратуши. Упал с л-лесов. Цех кэ-э... каменщиков платит ей пенсию и вносит часть платы за дом.

– Братство каменщиков – сильный и богатый цех, – задумчиво подтвердил брат Себастьян. – Теперь понятно, как вдова с двумя детьми могла себе позволить жить в таком добротном доме. Больше ничего?

– О мальчишке – ничего, только сви-идетельства э-э-э... свидетелей.

– В таких случаях принято говорить – очевидцев.

– Да, в-верно, очевидцев...

– Э-э-э... вот что, парень, – осторожно перебил его Мартин, – скажи-ка лучше: там не написано, у него в деревне кто-то есть? Ну, там, родичи, друзья...

– Нет, таковых не значит.

– Ну, значит, никуда он и не денется, – повеселел десятник. – Останетесь, святой отец?

– Да, нам придётся освятить оставленное дьяволом жилище... – рассеянно ответил тот, думая о чём-то своём, потом повернулся к десятнику: – А вы?

– Пойду распоряжусь ещё разок, чтобы предупредили стражу у ворот.

– Зачем?

Солдат скривил доселе ровную улыбку:

– На всякий случай, святой отец, на всякий случай. Мы не в кости играем. В этом деле на удачу полагаться нельзя.

\* \* \*

В сентябрь месяц, сразу после первых мокрых холодов, нагрянула беда – тёткин отец, который приходился Ялке как бы дедом, простудился и внезапно слёг в горячке. Дед был далеко не стар, и первое время казалось, что всё обойдётся, однако день за днём дела шли хуже. Жар, кашель скрадывали силы. Дед не вставал уже, лежал, укрытый тёплым одеялом. Лоб блестел от пота, от лица остались только нос и глаза. Горячка пожирала его изнутри, ничего не помогало – ни отвар из трав, ни заговоры, ни молитвы. В доме поселилась напряжённая глухая тишина – тишина *ожидания*.

Те знахари, что были в деревнях, помочь им не смогли. На городского лекаря семейству денег не хватило, да и какой бы лекарь выехал в деревню бог весть для кого? Оставалось попросту смотреть, как дед лежит и умирает. Это должно было быть страшно. Ялка понимала, что должна бояться, но не чувствовала ничего, кроме жалости. Дед не был опорой в семье, но два работника всегда лучше, чем один, а отделившегося сына и без этого снесли будни и заботы собственной семьи. Каким-то шестым чувством Ялка понимала, что когда дед умрёт, она из обузы превратится в наказание для всей семьи. И так она уже не раз ловила на себе недобрые (уже – недобрые) косые мачехины взгляды, и то и дело слышала произнесённое украдкой слово «приданое».

Сирота.

Кукушка.

Бесприданница.

Одно шло к одному. Ей неоткуда было ждать сватов, да это и не беспокоило её.

И всё же деда было жалко.

Лил дождь. Осенний, проливной, косой и с ветром – мокрая слепая пелена. Под тучами темнело быстро, жёлтая луна едва просвечивала сквозь серую вату. Силы деда были на исходе, это чувствовали все. Никто не стал ложиться спать: в эту ночь должно было что-то произойти. Разговаривали шёпотом. Ходили на цыпочках. Молились. Дождь шуршал по крыше, от нато-

ленной печи тянуло дымом и теплом. Дед то ли спал, то ли лежал с закрытыми глазами, а может, пребывал душою где-то вдалеке, как то бывает в боли и горячке, и лишь сухой надрывной кашель иногда сотрясал его измученное тело.

Нить тишины оборвалась внезапно. Вначале скрипнула калитка. Без стука, просто так. Все запереглядывались, недоумевая: час был неровен, поздний, потому не ждали никого. Два раза тявкнул пёс и вдруг залился лаем.

А в следующий миг дверь отворилась, и в дом вошёл Он.

Все сперва задвигались, но почему-то остались сидеть, где сидели. Взгляды были прикованы к незнакомцу. С его плаща лила вода, в руках был посох. С мокрых башмаков мгновенно натекло на пол. Пёс на дворе метался, рвал цепочку и захлёбывался лаем. Взгляд незнакомца прятался под капюшоном, но казалось, он осматривается и чего-то ждёт. Мачеха зашептала отчиму на ухо, тот кивнул и побелел лицом, в волнении сжимая-разжимая кулаки. А мачеха встала, комкая передник, и... поклонилась пришедшему.

Ялке стало любопытно. Впервые за последние три года она с каким-то удивлением вновь ощутила это чувство – любопытство, и это ей даже понравилось. А стоящий на пороге, который словно ожидал того поклона или другого разрешения войти, так вошёл и сбросил капюшон.

Ему было под тридцать. Он был высок и худ. Огонь свечи выхватывал из темноты скуластое лицо и ворох рыжих спутанных волос. Оно запомнилось, это странное лицо со шрамом на виске, с прищуром глаз, холодно-голубых, которые сперва ей показались серыми в домашнем полумраке. Он потянул через плечо и голову свой плащ, поискал, куда его бросить, и положил на лавку. Запахло мокрой шерстью. Никто не захотел приблизиться и взять его. Под плащом у незнакомца оказалась сумка на ремне, набитая чем-то мягким. Он быстро прошёл к изголовью больного, оглядел его лицо, приподнял веки, заглянул под одеяло. Пощупал лоб и тронул пальцами запястье. Нахмурился. Кивнул. Ялка невольно вытянула шею (из-за печки было плохо видно), привстала и уронила шитьё, которым была до того занята. Пяльцы с грохотом упали на пол. Пришелец быстро обернулся, взгляд его задержался на девушке.

– Горячая вода есть? – спросил он.

Голос был слегка надтреснутым, будто он и сам был чуточку простужен или долго до того молчал. От неожиданности Ялка растерялась.

– Что? – пискнула она.

– Горячая вода, – повторил тот внятно, но без раздражения и злобы. – Так есть? Или нет?

– Есть...

– Принеси, – распорядился тот и принялся неторопливо закатывать рукава.

Ялка со всех ног бросилась за чайником.

Пришелец между тем уже поставил сумку на пол, выложил на стол пригоршню трав, другую, третью. Что-то прошептал себе под нос, нахмурился и долго растирал их меж двух камней, которые достал из сумки вслед за травами. На краткое мгновение Ялке показалось, будто камни светятся холодным синим светом, но приглядевшись, она со страхом поняла, что камни ни при чём – светились руки травника (а это был, похоже, травник). Сияние было еле различимое, холодное, сродни тому, что прячется на глубине собачьих глаз. По спине её забегали мурашки. Ей захотелось бросить всё и убежать, но тут пришелец снова посмотрел на Ялку, на кувшин в её руках и коротко кивнул на миску пред собой, мол, лей давай, чего стоишь? Дрожащими руками она выплеснула туда едва не полкувшина и поспешно отошла назад.

– Слава Всевышнему, – чуть слышно прошептала мачеха за её спиной. – Господь вседержитель, он всё-таки пришёл...

– Молчи, – оборвал её отчим, буравя взглядом травнику затылок. – Накликали... Ещё неизвестно, чем всё кончится. Господи, прости нас грешных, – он быстро и мелко закрепстил. – Надо будет завтра священника позвать, пускай комнату окурят...

Мачеха, казалось, его не услышала.

– Он пришёл, – как в забытии повторяла она. – Пришёл...

Никто и ни о чём не спрашивал его. Сначала девушка думала, что пришелец будет приговаривать и напевать, подобно бабкам-травницам, но наговор оказался всего один, в самом начале, короткий, быстрый, неразборчивый. Ялка сморгнула, как от вспышки. Ощущение было странным – непонятным и одновременно пугающе ярким, как видение, будто пришелец опустил перед уходящим полосатую рубежную оглоблю: «Дальше не ходи». После была тишина. В молчании он колдовал над своими травами, потом над заболевшим дедом больше двух часов, прикладывал ладони, мазал мазью, капал капли, слушал сердце и поил настоем, потом так же молча стал собираться.

– Пойдёт на поправку, – сказал он наконец, перевязав мешок верёвкой. Потянулся за плащом. – Трав больше не надо. Поите горячим. Давайте мёд.

Отчим торопливо закивал, с головою влез в сундук и, позвеневав, достал оттуда несколько монеток серебра. Протянул их знахарю. Тот на мгновение замешкался, покачал головой.

– Оставь, – сказал он. – Семью кормить ещё. Вон их у тебя... сколько.

– Но... Но как же... – запротестовал было тот. – Что же вы тогда?..

Речь отчима оборвалась немимым вопросом. Рыжий ведун пожал плечами.

– Сочтёмся как-нибудь.

Травник выглядел усталым и измотанным. Он медленно набросил плащ на плечи, подобрал посох и не прощаясь двинулся к двери. Лишь напоследок снова задержался взглядом на девчонке. Ялка вспыхнула, но глаз не отвела. Взгляд травника скользнул зачем-то вниз, к её ногам, не с похотливым интересом, а со странной задумчивостью, будто он пытался что-то вспомнить, но не смог. Потом он поднял капюшон и вышел вон.

Отчим побледнел, сглотнул, однако протестовать не стал, только крепче сжал монетки в кулаке. Лишь теперь все сообразили, что пёс на дворе не только смолк, но даже на уход незнакомца никак не отозвался.

– И серебра не взял, – пробормотал сквозь зубы отчим. – Не тронул даже... не притронулся. Вправду говорят, наверно, что Нечистый. Люди, они чего попало болтать не станут... – Тут он встрепенулся, словно испугавшись собственных слов, и поспешно оглядел домашних. – Эй! Слышали? Не вздумайте сболтнуть кому! Нам сейчас только костра не хватало. Слышали?

– Ох, – тяжёлым вздохом отозвалась мачеха. – Ох, Ганс, ну бога ради помолчи. Хотя бы сейчас помолчи. Он же его спас.

– Тело-то спас, – угрюмо буркнул тот. – А за душой... ещё придёт.

Взгляды всех метнулись к больному.

Дед лежал и улыбался. Глаза его были закрыты. Жар спал. Болезнь отступила.

\* \* \*

Отыскать корчму на улице канатчиков, что за кожевенными складами у северных ворот, и днём-то было нелегко. Под вечер же задача и вовсе становилась невыполнимой – фонари здесь били с регулярностью, достойной лучшего применения. Что странно, грабили здесь редко, и по пьяни колотили далеко не всяких. Любой не горожанин, заглянувший сюда в поздний час, рисковал всего лишь проплутать меж тёмных сдвинутых домов, но и только, хотя трупы в окрестных канавах обнаруживались с незавидным постоянством. После нескольких безуспешных попыток навести здесь порядок магистрат махнул рукой и оставил улицу канатчиков в покое. Только обитатели окрестных домов да припозднившиеся мастеровые рисковали ходить так далеко к окраине.

Тем более, за полночь.

Тем более осенью, по холодам.

Но так или иначе, а даже и достигшего заветной цели сегодня ждало разочарование: корчма была закрыта. Заперта. Что, впрочем, никого из местных бы не удивило – к странностям её хозяина давно уже привыкли. Сейчас здесь было тихо, только ветер шелестел сухими листьями, которые сам же притащил из леса по соседству, игрался с ними на брусчатой мостовой и изредка взвизывался вверх, колыша жестяную вывеску и деловито гукая в каминную трубу.

Сквозь застеклённое окошко пробивался свет. В пустующей корчме сидели двое – два размытых силуэта, выхваченных из темноты зыбким пламенем свечи и тлеющего очага. Один – высокий, горбоносый, с длинными прямыми волосами, стянутыми в узел на затылке, чувствовал себя здесь как хозяин (впрочем, он хозяином и был). Другой был тоже ростом не обижен, но если первый был худощав и тренирован – только мускулы и кости, то второй был полон, лысоват, с лицом одутловатым и невзрачным. На толстяке был плащ недорогого светлого сукна, такие же кафтан, камзол и подшитые кожей штаны, а также сапоги, высокие и остроносые, на скошенном кавалерийском каблуке и со следами от стремян. Невольно возникала мысль, какой должна быть лошадь, что принесла сюда такую тяжесть, ибо при первом взгляде становилось ясно, что дорожную одежду он носил не ради форса, а по делу – плащ и сапоги хранили грязь далёкого пути.

– Проклятая погода, – недовольно проворчал толстяк и покосился за окно. – Все дороги развезло. Не знаю, как обратно добираться буду. Скорей бы заморозки, что ли.

– Вам только заморозков сейчас не хватало, – невесело усмехнулся его собеседник. – И так, вон, дышите через раз. Честно говоря, я бы советовал вам вообще сегодня никуда не уезжать. За ужином согреетесь, а там и комната найдётся.

Слова длинноволосого звучали здраво: несмотря на не по-осеннему тёплую погоду и перетопленный камин, толстяк надсадно кашлял, поминутно вытирая потный лоб, и каждый раз прихлёбывал из кружки что-то тёплое, исходящее паром. Однако на предложение остаться он не ответил.

– Оставайтесь, – словно уловив его нерешительность, продолжал подначивать его хозяин корчмы. – Постояльцев до завтра всё равно не будет.

Тот покачал головой:

– Нет, Золтан. Не могу. Увольте. И хотел бы – не могу. Меня никто не должен видеть здесь. К тому же я спешу. – Он протянул пустую кружку. – Скажите лучше, чтобы подали ещё вина. Я дьявольски продрог, пока сюда добрался.

– Не стоит будить прислугу, – ответил тот, кого называли Золтаном. Поднялся. – Я вам сам налью.

– Как знаете, – толстяк пожал плечами.

Разговор, как видно, длился долго. На столе меж ними стояли уже почти пустой кувшин и две нетронутые тарелки с остывшим содержимым – чем-то белым и уже не аппетитным. Понудившись утвердительно на стуле, постоялец в сером отхлебнул из кружки, вновь откашлялся, отдулся. Плюнул на пол.

– Однако к делу, – произнёс он, утирая губы рукавом. – Что мне передать его светлости? Золтан помедлил. Потёр рукой небритый подбородок. Покосился на огонь.

– Я не могу сейчас вам дать однозначного ответа, – уклончиво сказал он наконец.

– Могу я поинтересоваться почему?

– Вполне. Дело в том, что я уже рассматривал этот... вопрос. Признаться, я и сам подумывал о том, чтобы предложить его светлости свои услуги. Но так и не решился. Видите ли, господин советник...

– Андерсон, – торопливо перебил его толстяк. – Мы ведь, кажется, уговорились чинов не называть. Зовите меня просто Андерсон. Обойдёмся без формальностей.



– Хорошо, господин Андерсон, – кивнул Золтан. – Так вот. Я прекрасно понимаю глубину и благородство замыслов его светлости. Только вот, сдаётся мне, ни он, ни вы не знаете нравов простонародья. Эти люди предпочтут сносить любые тяготы, чем выступить с протестом.

– Вот только не надо говорить, будто предела унижению нет, – буравя взглядом собеседника, проговорил толстяк. Лицо его покраснелось, лысина покрылась капельками пота. – Испанская корона обнаглела. Посмотрите, что творится. Провинции напуганы, забиты. Инквизиция будто с цепи сорвалась. Доносы, пытки. Каждого пятого объявляют еретиком, каждую шестую – ведьмой. Костры горят по всей стране. Лет пять тому назад я и предположить не мог, что доживу до такого! Пока король испанский не издал этот гнусный плакат<sup>2</sup>, ещё была возможность как-то с ним ужиться, но теперь... Налоги, измывательства, поборы. Люди еле сводят концы с концами. Война уже идёт, весь юг полыхает. Да и на севере восстания готовы вспыхнуть тут и там, надо только их поддержать.

– Андерсон, вы с ума сошли! – Золтан потряс кулаками. – Какие, к чёрту, восстания? Купцы ворчат, но платят, что понятно – лучше потерять часть прибыли, чем дело целиком. Жиды сворачивают капитал, но тоже не везде и не до конца, а уж они умеют выжать прибыль из чего угодно. Значит, даже и теперь у них есть свой резон остаться.

– Ну-ну, – усмехнулся толстяк. – Судьба кастильских марранов<sup>3</sup> их нисколько, значит, не пугает? Хорошо. Хотя и опрометчиво... А знаете ли вы, что с наших городов корона получает в четыре раза больший доход, чем от всех своих колоний в Вест-Индии?

– Представьте себе, знаю, – кивнул Золтан. – Испания – бедняцкая страна с богатой знатю. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы это сообразить. Но это как позолота на клинке: богатство ей приносят флот и латная пехота. Они привыкли воевать, а на награбленное снаряжаются всё новые войска и корабли, и конца этому не предвидится. К тому же с ними церковь. Очнитесь, Андерсон, времена схизмы давно миновали. Сколько людей живёт сейчас во Фландрии? Два миллиона? Полтора? Организованного войска мы не выставим, а герцог в одиночку ничего не сможет сделать.

– Но его светлость не один. Вы помните ту депутацию к Пармской наместнице? Ну, ту, когда нас обозвали нищими? Кровь Христова, ей не следовало тогда так с нами поступать. Теперь страна кипит от недовольства. Если мы сделаем всё правильно, то оседлаем волну.

– Волна, – с прищуром глядя господину Андерсону в глаза, проговорил сквозь зубы Золтан, – рано или поздно разбивается о берег. Только на первый взгляд всё кажется простым. Аристократия сильна, но не любима. Сколько грызлись хуксы с кабельявсами?<sup>4</sup> Лет пятьдесят? И кого это волновало? Можно поддержать голытьбу, когда она вышвыривает из церквей иконы или бьёт испанских назначенцев по мордам, но объединить народ вам не по силам. Не удастся повести его за собой. Поймите, гёза может поднять только гёз. А коль это случится, все аристократы станут им врагами, *все*, не только испанцы. Вспомните хоть «Битву шпор». Пример Брюгге заразителен. Если это повторится, что вы будете делать?

Он умолк.

Некоторое время в комнате царила тишина.

– Как ни прискорбно, – наконец сказал Андерсон, – приходится признать, что вы во многом правы. Жаль, что ничего нельзя предугадать, бредём вслепую, как котята. Ничего не знаем наперёд. Одни предположения и слухи. Кстати, вы не слышали? Король решил послать в провинции войска.

– Войска? Не слышал. Много?

---

<sup>2</sup> Указ.

<sup>3</sup> Марраны – в средневековой Испании – иудеи, принявшие католичество.

<sup>4</sup> Хуксы и кабельявсы (голл. «hoeksens» и «kabeljauwsens») – «крючки» и «треска», две оппозиционные дворянские группировки, боровшиеся за власть в Нидерландах в середине XIV – начале XV вв. Победили кабельявсы, признававшие графом Вильгельма V Баварского.

– Я не знаю. Тысяч восемь. Может, больше. Однако главное не это, а то, что ведёт их герцог Альба.

– О... – Золтан удивлённо поднял бровь. – Неужели сам Альба? Да... Тогда понятно. Это ведь в его привычках уничтожать по пути всех и вся?

– Да, пожгли всех... – Андерсон помахал рукой, подбирая слова. – Еретиков, ведьм, колдунов... А между прочим, хороший ведун нам сейчас ой как пригодился бы.

– Это зачем? – Золтан с подозрением посмотрел на собеседника.

– Как зачем? Ведь какая глупость – церковники сами не понимают, какая сила попадает к ним в руки! Время уходит, а герцог медлит, ничто не может его убедить в благополучном исходе...

Тут было вновь возникла пауза, господин Андерсон замер, потом оживился.

– Послушайте, Золтан, мне, кажется, пришла одна идея. Вы ведь знаете всех этих... колдунов, вещателей?

– Я не инквизитор, – несколько поспешно отозвался тот.

– Но вы ведь раньше занимались многим, в том числе и этими... Что, если нам их разыскать, одного, двоих, спросить совета? Конечно, сперва испросив благословения у господина, ведь в конце концов любые чудеса могут служить добру...

– Я почти никого такого не знаю, у меня была другая должность, – хмуро бросил Золтан. – Хотя... Впрочем, всё равно это напрасный труд – едва ли кому-то удалось уцелеть, да и те бежали из страны. Церковь сейчас похожа на того крестьянина, который, выдёргивая сорняки, вытоптал весь урожай. Вы думаете, на кострах жгут только ведьм и колдунов?

– Я ничего не думаю.

– Напрасно. Думать иногда полезно. Жгут не только ведьм. Жгут знахарей, гадалелей, владельцев чёрных кошек, профессиональных игроков, да и просто зажиточных людей, на которых поступил донос. А помните ту девушку из Маргена? Ну, ту, в подвале у которой нашли крысёго короля.

– Крысёго короля? – Андерсон, не понимая, поднял бровь. – А, понял, такую тварь, сколько-то крыс, повязанных хвостиками? Вспомнил, да. А что, с ней что-нибудь стряслось?

– Её тоже сожгли, – ответил мрачно Золтан.

– За что?

– Как ведьму.

– Немудрено, если всё их имущество отходит церкви! – хмыкнул господин Андерсон. – И всё-таки?..

– Я отвечаю: нет. Не знаю никого. Да и на кой вам сдался прорицатель? Что вы замыслили? Вам что, деянья Орлеанской девы не дают покоя? Хотите чего-нибудь подобного? Здесь я вам не помощник. После того, как её объявили еретичкой, во Фландрии вам этот фокус не пройдёт.

Замолчали.

– А этот... Помнится, вы говорили мне когда-то... Этот... рыжий.

В отблесках каминного огня худое длинное лицо Золтана выглядело хмурым и задумчивым. Казалось, он мучительно пытается вспомнить.

– Ну у вас и память, – сказал он наконец. – Да, есть такой человек. Вернее, был.

– Был? Почему «был»?

– Я очень давно его не видел.

– Так, может быть, он мёртв?

– Н-нет. Пожалуй, нет, – с некоторой неохотой признал Золтан. – Я кое-что слышал совсем недавно от своих людей, но это... как бы вам сказать... Это не слухи, а, пожалуй, что-то вроде сказок. Эдакие фабльо.

– Ну, это вы загнули, – усмехнулся толстяк и откинулся на спинку стула. Заглянул в пустую кружку, потянулся за кувшином. – Скажете тоже: сказки... Он предсказатель? Местный? Где он живёт, в городе?

Золтан покачал головой.

– В деревне? Дьявол вас задери, да не тяните же душу!

– Признаться честно, я сомневаюсь, что нам удастся его разыскать.

– Почему? Он что, невидимка, этот ваш... – он щёлкнул пальцами. – Этот ваш... как там его зовут?

– Не всё ли вам равно? – вопросом на вопрос ответил Золтан. – Он называет себя – Лис. У него есть и другие имена, не суть важно. В какой-то мере вы правы: этот парень всё равно что невидимка. Он никто. Живёт, наверное, неподалёку, но никто не знает где. У него есть даже дом здесь, в Лиссбурге, но последние три года я не видел, чтобы он там появлялся.

– Он живёт здесь? – мгновенно оживился Андерсон. – Что же вы молчали! Проникнуть в дом нельзя? – с профессиональным интересом осведомился он.

– Не советую. Как правило, ничем хорошим это не кончается. Два человека осмотрели дом в его отсутствие от крыши до подвалов. После этого один сломал себе ногу, другой разбил башку. Почти день в день. Зная травника, не думаю, что это случайность.

– Травника? Какого травника? Он травник?

– Он много кто. И травник тоже.

– Гм, – казалось, господин Андерсон задумался. – Быть может, стоит надавить на его родственников?

– Я не одобряю подобных методов, – хозяин корчмы поморщился. – Он не местный, и родственников у него нет, во всяком случае живых.

– Ну не может же быть так, чтобы его никак нельзя было приманить! Золтан, вы же профессионал. Должны быть способы. Лекарства, выпивка, деньжата, девочки... Угрозы, наконец. Или наоборот – посулите ему должность, чин провизора. Не верю, чтобы не нашлось подхода.

В ответ на это Золтан лишь многозначительно хмыкнул.

– Вы его не знаете, – сказал он хрипло, будто в горле у него внезапно пересохло. – Иначе бы так не говорили. Деньги его не интересуют: он бы мог грести их лопатой, если бы брал плату за лечение... Кстати, он здесь как-то состоял аптекарем. А карты, женщины, вино – всё это чепуха. Он не азартен, не тщеславен и не любопытен. Любознателен, да, но совершенно не любопытен. Патологически. А что до угроз... Своею жизнью он уже давно не дорожит.

Андерсон усмехнулся.

– Ну и картинку вы мне тут нарисовали. Прямо отшельник какой-то! Ну, ладно. Я уже отдохнул. Мне надо ехать.

Он встал, одёрнул камзол, проверил нож за поясом, подошёл к окну и выглянул на улицу, двигаясь со странноватой грацией, порою свойственной полным людям. Золтан непроизвольно напрягся: его ни на миг не обманули ни мешковатый облик гостя, ни его смехотворно коротенький ножичек. Взгляд профессионала подтверждал неоспоримо – в рукопашной схватке господин Андерсон был опаснейшим бойцом.

– Если сможете, то разберитесь с этим сами, – сказал он. – Думаю, не нужно вам напоминать, что эта беседа должна остаться между нами? Если хоть кто-нибудь прознает о том, что здесь говорилось, нас обоих ждёт костёр. И это в лучшем случае.

– Будьте покойны, – кивнул Золтан. – Я сам об этом позабочусь. Ни одна церковная собака не узнает о нашем разговоре.

Толстяк невольно вздрогнул, огляделся и понизил голос:

– Дьявол раздери вас, Золтан, с вашими восточными замашками! Будьте осторожнее, когда бросаетесь такими словами. Не приведи господь, услышит кто. У стен и то бывают уши.

– Расслабьтесь. Успокойтесь. Вот, выпейте напоследок. – Золтан пододвинул кувшин. – У этих стен ушей нет. А если и были, я давно их оторвал.

Господин Андерсон с благодарностью осушил кружку, крикнул, звучно высморкался на пол, нахлобучил шляпу и шагнул к двери.

– Что ж, прощайте, – оглянулся он. – Если что-нибудь надумаете...

– Я найду способ дать вам знать.

Толстяк вышел. Через некоторое время послышалось звяканье сбруи. Конь, которого даже не стали рассёдлывать, коротко взбрыкнул, копыта простучали по брусчатке, и всё стихло. С полминуты Золтан неподвижно стоял, глядя перед собою на закрывшуюся дверь, затем внезапно вскинулся и коротко ударил кулаком в сухие доски. Эхо гулко отдалось под сводами корчмы.

– Шайтан... – коротко выдохнул он. – Так нельзя. Он всё-таки мне друг. *Мой* друг.

Золтан не договорил, умолк и развернулся. Подошёл к столу и остановился, созерцая огонёк свечи.

– Кровь... – произнёс он и потряс головой. Провёл ладонью по лицу. – Проклятие. Они затопят кровью всю страну. Не палачи, так мстители, не мстители, так палачи...

Ещё мгновение он постоял недвижим, затем задул свечу и вслепую двинулся по лестнице, нащупывая перила.

\* \* \*

Разные мысли приходили в голову при взгляде на сосредоточие земель, лежащих в устье Шельды, Мааса и Рейна возле Северного моря. То были не просто земли абы как, а земли тучные и изобильные, что удивительно, поскольку – земли *нижние*, из тех, что отвоёваны у моря. Их жители столетиями строили плотины и каналы, корзинами таскали гравий и песок, откачивали воду из болотистых низин размашистыми ветряными мельницами. Воды здесь было столько, что местным жителям, как иногда шутили иноземцы, стоило именовать свои владения не «vaterland» а «waterland», что значит «водоземье». Здесь были пашни и луга, кукольных размеров королевства и братство вольных городов торгового союза. Берега хранили гавани торговых кораблей. В эти маленькие города стекалось золото со всего мира, торговля приносила им и славу, и богатство. Менялы и ростовщики, купцы, судовладельцы – все здесь имели свою выгоду.

Однако что шатается окрест, когда царят богатство и достаток? Само собою – зависть.

«Красиво жить не запретишь»? Как бы не так!

Не нужно быть седобородым мудрецом, чтоб осознать простую истину, что меч с огнём всегда придут туда, где золото и хлеб. А Северное море было как ворота в городе: кто в них стоит, тот и пошлину собирает. Дороги, по которым шли сюда завоеватели, не пустовали никогда. Сначала были римляне, их проложившие и самолично испытывшие подошвами своих сандалий. Их спад и гладий насаждали власть, штандарты возносились над захваченными землями, их легионы прошагали пол-Европы и Британию – всё дальше, дальше, на закат, прогнали варваров к холодным берегам – и сами канули в ничто со всей своей Империей. Смешались. Растворились.

После были новые народы.

Потом явилась новая Империя. Другая. Благородная, но грязная на помыслы, могучая и нищая в одном лице. «В моих владеньях не заходит Солнце», – говорил её король. И то было не хвастовство: её суда открыли Новый Свет, она раздвинула свои границы так широко, как никому не грезилось в прошедшие века. Могло ли при таком раскладе получиться так, что земли Фландрии остались в стороне? Смешно... Ей даже не потребовалось их завоёвывать: все Нидерланды – Фландрия, Лимбург, Брабант, Зеландия, Намюр и Геннегау, графство Зютфен-

ское и графство Люксембург, и остальные девять провинций были приданым невесты короля Карла V, увесистыми гирями на чаше политических весов.

Пришла пора, когда Испанская империя наложила свою длань на земли побережья Северного моря. И длань сия была грязна и велика, благословлена святым крестом. Доносы вытеснили письма, казни заменили представления актёров, а церковные поборы, грабежи чиновников свели на нет торговлю и любое ремесло. В дыму костров терялось небо. Власть короля Испании распространилась в нижних землях как зараза. Предчувствие грозы витало в воздухе. В народе зарождалась ярость, зрела как нарыв, ведь слова «гнев» и «гной» схожи не только по звучанию. Война была не за горами, и никто не думал, что последует потом. В войне, пусть даже и освободительной, всегда найдётся место для наёмников, мародёров и горлопанов. «Испанцы, убирайтесь домой!» Так волна, рождаясь в океане в шторм, несёт на берег водоросли, дохлых рыб, оторванные сетевые наплава, гнилые щепки, пену, грязь и муть, несёт, чтобы достичь земли и схлынуть очищенной, оставив мусор дней на берегу: вот ваша погань, нате, забирайте!

Вот только далеко ещё до берега. Ох, далеко.

В дни смуты, в дни бездумья всё теряет смысл. Зачем думать о будущем, если будущего нет? Ведь можно и не думать. Думать – вот ещё! Ишь, выдумали... Думать... Пусть оно сперва настанет, это будущее, а там посмотрим, стоит оно того или нет. А если кого и зацепит ненароком, так война на то и война – она всё спишет.

«Да здравствует гёз!»

«Так-таки и здравствует? Так-таки и гёз?»

«Так, я не понял. Ты с нами или против нас?»

«Я сам по себе».

«Ах этак? Ну тады держись!»

\* \* \*

Когда Фриц рванул на улицу, растрёпанный, с ножом, в испачканной кровью рубахе, он не думал, что будет делать дальше. В это мгновение мальчик снова уподобился мышонку, в чьей крохотной голове помещаются только две мысли – поесть и спрятаться, причём помещаются только поодиночке. На середине лестницы у него мелькнула мысль, что дверь в дом может охраняться, но и она потонула в отчаянном: «Пускай!» Фриц крепче стиснул рукоять кинжала, выскочил и... не обнаружил никого. Улица по-прежнему была пуста. Что было этому причиной – весть, что здесь арестовали ведьму, тот погром, который учинили стражники, или визит святых отцов, – осталось тайной. Впрочем, Фрица это интересовало менее всего. С растерянностью оглядев рубаху на груди, мальчишка попытался рукавом отчистить пятна крови, но опомнился и бросился бежать, ныряя в дыры подворотен и сквозных проулков, пока преследователи не спохватились. Кинжал он запихал в рукав; он там кололся и мотался, норовил выпасть, зато, по крайней мере, не привлекал ненужного внимания.

Пробежав квартала три, а может быть, четыре, Фриц запыхался и замедлил шаг. Стали попадаться редкие прохожие. Сперва он норовил при каждой встрече спрятаться в тени, пока не понял, что им нет никакого дела до злосчастных пятен на его рубашке – подумаешь, парнишка нос разбил. Он успокоился и, не обнаружив следов погони, зашагал смелей.

Так, издали приглядываясь к лицам встречаемых, чтоб не привести господь, не пропустить случайно Гюнтера или Оскара, или ещё кого знакомого, Фриц обогнул квартал с башмачной мастерской, миновал грохочущий подвал слесарни, лавку, некогда принадлежавшую жиду-ростовщику, немного постоял у булочной, глотая слюну, и наконец добрался до заброшенного дома. На сей раз – с обратной стороны, где раньше размещался чёрный ход.

Днём старый дом казался тихим и почти нестрашным. Таинственность, которую ему отчасти придавал осенний сумрак, а отчасти – детское воображение, при свете становилась просто-напросто картиной разрушения. Дом был красивый, трёхэтажный и даже теперь хранил остатки показушной роскоши – обрывки крашенных обоев, уцелевшие в углах, медового оттенка плашки от паркета, дырки от канделябров... Фриц не знал, как долго дом был заброшен, никогда не спрашивал о нём ни маму, ни отца, когда тот ещё был жив. Ныне полы были продавлены, подвал забило мусором. Местами балки перекрытий рухнули и обнажился потолок, крещённый квадратурой штукатурной дранки (сама штукатурка давно осыпалась). Ни рам, ни стёкол не было – окна забились досками, но сноровистые горожане быстро смекнули, что к чему, и растащили их на мебель и дрова. Фриц представлял себе, как он живёт в таком доме, как его встречают каждый день – жена, прислуга. От этого ему становилось смешно и чуточку не по себе. Прислуга представлялась ясно, а вот насчёт жены возникали затруднения. По правде говоря, зачем и для чего нужна жена, Фриц представлял себе довольно смутно.

Однако сейчас подобных мыслей не возникло. Дом показался Фридриху каким-то хмурым и усталым. Мальчишка почувствовал, что измотан вконец: руки его дрожали, в горле пересохло. Не хотелось даже есть, хотелось только лечь и не вставать. Мысли о маме и сестрёнке не давали покоя: где они, что с ними? Как помочь?

По всему выходило, что никак (во всяком случае пока никак). Из головы не шли слова солдата о костре и ведьмах. В глубине души Фриц понимал, что это значит, но рассудком верить не хотел, отказывался – слишком дико и нелепо это выглядело. Это была ошибка. Какая-то ужасная ошибка. Они всё выяснят, расспросят и отпустят их. От этой мысли Фриц чуть-чуть повеселел. Будущее уже не казалось ему таким беспросветным. Пройдя по коридору, Фриц привычно перебрался на второй этаж, оттуда по бревну – на третий, а оттуда – на чердак и далее по крышам, мимо труб – в соседний дом, решив на этот раз не дожидаться темноты.

На чердаке было тихо и спокойно. Фриц затворил дверь, подпёр её куском доски и обернулся. Подсвечник, миска, одеяло – всё лежало и висело на своих местах, как он их и оставил. Фриц с жадностью прильнул к чашке с водой, которую собрал во время прошлого дождя, и пил, пока она не опустела. Сразу захотелось есть. Он сунул руку под корыто, где хранил остатки хлеба, и пошарил там. Что-то шевельнулось в рукаве, скользнуло вниз, Фриц рассеянно вытряхнул предмет и зашипел, порезав кожу в сгибе локтя.

Кинжал.

Мгновенно всплыли в памяти побег и воровство, и то, как он поранил стражника, священника и, кажется, прислужника. Правда, насчёт последнего Фриц не был уверен до конца. Куда-то исчезли все соображения насчёт того, что всё само собой образуется, и запоздалым холодом упала мысль: нет, не простят. Такое не прощают. Даже военные, даже святые отцы.

Он повертел кинжал в руках. Клинок был узок, словно ивовый листок – почти стилет. Уверенно тяжёлый, двусторонний, с желобком посередине, он лежал в ладони непривычно просто и удобно, не в пример кургузым кухонным ножам. Не хотелось выпускать его из рук. Лезвие, чернённое по всей длине, несло рисунок гравировки – волчья голова. Это было оружие благородное и, насколько мог судить Фриц, довольно дорогое. Откуда у простого стражника (хорошо, пусть даже у начальника привратной башни) мог взяться такой кинжал, Фриц не имел понятия. Трофей, подарок – мало ли откуда. Подобные клинки звались «мизерикордия» и применялись для того, чтоб добивать упавших рыцарей сквозь прорези забрала, хотя Фриц не мог взять в толк, зачем надо это делать. За рыцаря обычно полагается брать выкуп, и немалый. От мёртвого же рыцаря, понятно каждому, нет никакого проку, разве только доспехи содрать и продать. Фриц решил, что кинжал он не отдаст, даже если потребуют, а лучше скажет – потерял. Спрячет подальше, а когда вырастет... Там видно будет.

У рукоятки запеклось немного крови. Чьей – теперь уже нельзя было понять. Скорее всего, всех троих. Фриц посмотрел на длинную царапину на собственной руке и мысленно

поправился: всех четверых. Он поднял стилет повыше, чтобы лезвие поймало отблески заката, и ощутил слабую дрожь, будто пальцы, сжавшие рукоять, укололи сотни маленьких иголочек. Чувство это показалось ему родственным тому, какое возникало, если он пытался без огня зажечь свечу. Фриц привычно подавил порыв и поморгал, чтобы из глаз убрались тени, и повертел клинок туда-сюда.

– Ты красивый, – сказал он кинжалу. – Я буду звать тебя...

Тут паренёк на миг задумался, потом кивнул:

– Я буду звать тебя «Вервольф». Годится?

Клинок не возражал.

Тем временем стемнело. Поразмыслив, из чего бы сделать ножны, Фриц принялся зевать и вскоре окончательно решил лечь спать. Он спрятал свой трофей под изголовье, сжевал горбушку и, укрывшись с головой, уснул.

Так миновали сутки.

На третий день Фриц понял, что выйти всё равно придётся. Сидеть на чердаке безвылазно без пищи, без воды было решительно невозможно. По правде говоря, Фриц вчера именно поэтому и решился пойти домой.

Промучившись до вечера, он всё-таки решился на новую вылазку. И вновь едва не влип. Теперь, когда у него больше не было дома, идти было некуда. Родственники жили далеко: мать его была родом из Амстердама, отец – из Лисса, а немногочисленных друзей Фриц побоялся навещать после того, как первый, увидев его, поднял крик на всю улицу. Ни денег, ни еды мальчишке взять было неоткуда. Доведённый почти до отчаяния желанием что-нибудь съесть, он принялся рыться в кучах мусора и рыночных отбросов, но обнаружил только три-четыре груши да полдюжины подгнивших слив. И вот когда он отмывал их от грязи на площади возле колодца, им заинтересовалась стража – два солдата городского патруля.

– Эй, парень, – поманил его пальцем один из них. – Да, ты, с грушами. Ну-ка, подь сюды.

– Я?

– Ты, ты.

Фриц в замешательстве заёрзал. Стражники тем временем уже стояли рядом, возвышаясь над ним как две живые башни, затянутые в серое сукно. Фриц украдкой огляделся. Бежать было некуда, разве что в колодец прыгнуть.

– Как тебя зовут?

Фриц выпрямился. В голове его стало пусто и гулко. Все имена, которыми он при случае хотел назваться, куда-то вылетели.

– А... – выдавил он из себя.

– Как? – нетерпеливо переспросил один из стражников.

– Август, – наконец нашёлся Фриц.

– Август? – Дитина в серой форме сморщил лоб и смерил Фрица взглядом. – Хм... Слышь, малый, а ты, случаем, не Фридрих Брюннер?

Фриц гулко сглотнул. Врать оказалось невероятно тяжело.

– Нет, я Август, – занудил он, уже ни на что не надеясь. – Август... Мюллер.

Стражники переглянулись. Оба, по всему виду, не отличались сообразительностью. Фриц почти не рисковал: в окрестностях Гаммельна и вправду было столько мельниц, что каждый пятый житель города носил фамилию Мюллер (то бишь «мельник»).

– Мюллер, – тупо повторил стражник и посмотрел на своего напарника. – Чё, правда, что ли?

– Кто его знает, – пожал плечами тот. – Много их тут, Мюллеров, всех не упомнишь. У меня у самого когда-то был приятель Вилли, тоже Мюллер.

Сказавши так, он снова повернулся к пареньку:

– Ты где живёшь?

Фриц принялся лопотать что-то вроде «тут, недалеко», заврался окончательно, и в результате стражники потребовали показать им дом, как они выразились, «в натуре». Для верности мальчишку взяли за руку.

Недомытые груши пришлось бросить.

Неуклюже подскакивая в такт широким солдатским шагам, Фриц лихорадочно соображал, что делать, попытался отвлечь гвардейцев болтовнёй, но те, похоже, заподозрили неладное, и лишь нарочито уверенные указания Фрица («Вот сейчас направо... а теперь сюда... да-да, вон в тот проулок...») удерживали их от намерения поволоочь мальчишку в караулку.

Спасла Фрица случайность. На перекрёстке они едва разминулись с повозкой, всех забрызгало грязью с ног до головы. Стражники хором принялись ругаться, вытирая лица, Фриц улучил момент, рывком высвободил руку и пустился наутёк. Догнать его не смогли. Пропетляв для верности по улицам, он вновь забрался на чердак и решил в ближайшее время не высывать носа на улицу. Четыре давленные сливы, уцелевшие за пазухой, – всё, что принесла его прогулка, пришлось оставить на потом.

Это самое «потом», однако же, настало очень скоро – не прошло и суток, а мальчишка уже снова мучился от голода и жажды. Он съел их и расколол косточки. Выйти он не решился – слишком часто снизу доносилась мерная поступь городской стражи. Похоже было, что спокойствие закончилось, охота началась всерьёз. К счастью, на следующий день посыпал дождь, решив одновременно две проблемы – Фриц напился и набрал воды, а после выбрался на крышу и опорожнил посудину, которую использовал в качестве ночного горшка; вода мгновенно смыла все следы. Оставшийся день он лежал и думал, как теперь быть, вертел в руках кинжал и вырезал червлёным лезвием на пыльных паутинистых стропилах. Под мерный шум дождя соображалось плохо, Фриц не стал дожидаться темноты и прямо так, за размышлениями, уснул.

На пятый день его разбудили шаги.

\* \* \*

Он был определённо не из местных, этот рыжий знахарь. Всех целителей в округе Ялка помнила в лицо. Да и не так их было много, чтоб не помнить: две-три повитухи (эти не в счёт), дед Якоб и настоль же дряхлая старуха Маргарита, да ещё кривой на левый глаз толстяк Симон, с успехом пользовавший жителей окрестных деревень от сглаза и дурной болезни. Ялка вспомнила странствующего монаха брата Адриана, как-то летом к ним забредшего, и молодую ведьму из совсем уж отдалённой деревушки возле Ваансбрюгге, которую сожгла двумя годами раньше на костре святая инквизиция. Но травника, пришедшего к ним тою ночью, она припомнить не смогла. Хотя, с другой стороны, ну что за возраст – тридцать лет для знахаря? Едва успеешь выучить названия трав, не говоря уже о том, чтоб научиться ворожбе. Вот так и он наверняка ходил себе в учениках (потом, конечно, в подмастерьях), ходил, ходил, а с некоторых пор затеял пользоваться больных. Да, так, наверное, оно и есть.

И всё же странный взгляд, который травник бросил на девчонку напоследок, не уходил из памяти. Как не хотело уходить загадочное ощущение, которое возникло, едва он начал колдовать. Не глазами, не ушами, а скорее чем-то третьим Ялка на мгновение ощутила липкий серый холодок, который пробирал до кончиков волос. Не страшно – притягательно. Когда *оно* ушло, в душе опять настала пустота. И почему-то с ней пришла обида.

Однако смущало девушку не это. Конечно, отчим запретил рассказывать односельчанам, что случилось нынешней ночью, но пробудившееся любопытство шевелилось, грызло душу, словно мышь. Тихонько, осторожно, оброня там словечко, тут намёк, выпрашивала Ялка поселян: «А правду говорят...», «А вот слыхала я...», «А мне вот говорили как-то раз...» Пусть Ялка до конца ещё не поняла, из-за чего ей больно вспоминать его приход, но про себя решила твёрдо разобраться, почему он тогда вообще пришёл. Чего-чего, а упрямства и терпе-



ния ей было не занимать. Но скольких бы людей она ни спрашивала про загадочного ведуна, ответом ей были испуганные взгляды – и больше ничего. Разговор переводили на другую тему, иногда крестились, чаще – просто умолкали. Только Петер усмехнулся в пробивающиеся уסיки и, оглядевшись для надёжности, пробормотал:

– Помалкивала б лучше, дура. Голова целее будет.

И, смерив девку взглядом, многозначительно до-бавил:

– И не только голова.

Знахарей побаивались, это так, и за глаза о них порой рассказывали столько всячины, что верилось с трудом, а часто и не верилось. Про бабушку Маргариту говорили, будто она ночами оборачивается совой и летает до утра, дед Якоб, значит, тоже водит дружбу с белыми лесовиками и в новолуние варит мёд на мухоморах, и лишь Симон, трепач и выпивоха, всюду слыл за своего, но то, наверно, был особый дар. Но чтоб о ком-нибудь вообще боялись говорить – такого не бывало. Из фраз утихших разговоров, из неловкого молчания, из обрывков слов, из жестов и нахмуренных бровей ей удалось узнать немного. Но этого хватило, чтоб задуматься.

Никто не знал, где он живёт. Никто не знал, откуда он здесь взялся пару лет тому назад и почему. Не знали даже имени, а знали только, что его бесполезно звать: он приходил, лишь когда сам хотел прийти. Зато уж если он явился, больной непременно пойдёт на поправку. В последнем Ялке выпал случай убедиться самолично – их старик встал на ноги за две недели. Одни считали травника обыкновенным ведуном, не в меру привередливым и горделивым. Другие полагали, что он знается с Нечистым. Третьи – что он сам и есть Нечистый. А то, что он не брал в уплату ни еды, ни денег, ни вещей, подтверждало все три предположения. В самом деле, если денег не берёт, наверно, берёт чем-то ещё, ведь не бывает же, чтобы совсем без платы! А что такое есть у человека, что возьмёшь, а с виду не заметно?

Душа, само собой, что ж ещё!

На болтовню и сплетни Ялке было плевать. Но пришло воспоминание: мама. От мысли, что она могла бы быть сейчас жива, щемило сердце. Это было ужаснее даже того, что она умерла. Почему он не пришёл, когда ей стало плохо? Почему он не пришёл её спасти? Ведь он же мог её спасти? Наверное, мог. Если бы Ялка знала, как его позвать, она бы позвала. Она бы душу отдала за мать, она б не пожалела. Но он ведь никогда не приходил на зов – он приходил, когда лишь он того хотел! Обида стискивала горло, опускалась в глубину, тихонько, исподволь переплавляясь в ненависть: как, как он мог так поступать? Зачем, почему? Пускай бы дело упиралось в деньги, это хоть понятно, но ведь он лечил бесплатно. Кто дал ему право решать, кого оставить жить, кого отдать на откуп смерти? Выскочка, гордец, дурак надутый!

Взгляд травниковых глаз, усталый, полный то ли злобы, то ли затаённой боли, преследовал её во снах. Она не верила, что всё настолько плохо, просыпалась, плакала в подушку до утра, а поутру бралась скорее за работу, чтоб забыться. Но не забывалась. Измученная любопытством, злостью и сомнениями, Ялка наконец решилась и в субботу, улучив момент, когда отчима и братьев не было дома, подсела к мачехе и попросила рассказать.

Та грустно посмотрела ей в глаза и неловко пожала плечами.

– Не знаю, дочка, – молвила она. – Не нам, женщинам, соваться в эти тёмные дела. А только я считаю так: какой же это дьявол, если он людей от хвори избавлять приходит? Люди, конечно, разное говорят, да только всех слушать не стоит – собаки лают, ветры носят. А что платы не берёт... Бог знает отчего, но ведь и в самом деле не берёт, хотя и богачом не выглядит. Я вот порою думаю, – задумчиво продолжила она, – не гёз ли он – из тех гёзов, что не признают королевских указов и инквизиции? Тогда понятно, почему он прячется незнамо где и бедным помогает.

– Побойтесь бога, матушка! – воскликнула тут Ялкина сестра, которая сидела рядом за шитьём. – Да если это так, уж лучше думать, что он дьявол! Уж тот, по крайней мере, хоть не заговорщик и не приведёт к нам в дом своих дружков!

Мачеха долго смотрела на неё, забыв про вышивание, потом опустила глаза.

– Боже, боже, – с тяжёлым вздохом сказала она. – Что за несчастная страна, в которой свободного человека бояться больше, чем чертей... А ты, – она поворотилась к Ялке, и лицо её сделалось серьёзным, – поменьше думай и болтай про то, в чём ничего не смыслишь. А лучше забудь обо всём. Меньше знаешь – крепче спишь.

Тот разговор заставил Ялку снова призадуматься. Прошло ещё немного времени, и она поняла, что круг замкнулся. Все корни девичьей души оборвались. Решение, которое на протяжении стольких месяцев её тревожило, созрело окончательно, сплелось с возникшим ниоткуда ревностным желанием найти его, того, кто приходил в больную ночь. На все приготовления ушло два дня – всё следовало делать втайне, собирая вещи в старенький мешок и пряча его за бочками на маслобойне. Заканчивался месяц ячменя, близились холода. Она взяла чуть-чуть припасов, одеяло и дарёный кожушок, почти не ношенные тополевые башмаки, которые купили ей в начале осени, надела свою самую тёплую войлочную юбку и самолично ею связанную шаль. Взяла из сундука две пары спиц и серые клубки спрядённых нитей. Напоследок задержалась у плиты и выбрала, поколебавшись, самый средний нож из четырёх, висевших на гвозде. Грех жаловаться, подумала она, её сородичам достался целый дом, они не вправе обижаться на такие мелочи.

Последними упали в мешок огниво и кремь.

Из всех, кого можно было навестить, она зашла только к матери на кладбище.

Следы упали на дорогу и исчезли под дождём.

Холодным днём вершины октября она ушла из дома.

\* \* \*

Об этой комнате в корчме «У Пляшущего Лиса» знали немногие – вход в неё скрывала занавеска, а дверь была замаскирована под часть стены. Да и комната была, сказать по правде, как чулан – три на три шага, в ней едва нашлось место для столика, полки с книгами и пары табуреток. Двое человек здесь поместились бы с трудом, а трое вовсе бы не поместились. Случайный наблюдатель также бы отметил, что и стол, и табуретки были непривычно низкими. Окон здесь не было, зато в углу темнела маленькая дверь, в которую взрослый человек мог протиснуться, лишь встав на четвереньки.

Сейчас в комнатухе был только Золтан Хагг – владелец «Пляшущего Лиса». Худой, поджарый, горбоносый, он сидел за маленьким столом едва не на корточках, поджавши ноги. Перед ним лежала карта всех окрестных городов и весей, столь огромная, что её углы свисали со стола. Вся она была истыкана булавками, помеченными красными флажками. Ещё одну булавку Хагг держал в руке. Любой библиофил пришёл бы в ужас, увидев, как Золтан обращается с таким ценным документом – карта была жутко дорогая, цветная и подробная, но хозяина корчмы подобные соображения волновали менее всего.

Стороннему наблюдателю могло также показаться, что Золтан поглощён какой-то нелепой и сложной игрой. Он долго двигал пальцем возле Западного тракта, наконец нашёл кружок, обозначавший какую-то деревеньку, воткнул в него булавку и удовлетворённо кивнул. Поскрёб ладонью подбородок. Хмыкнул.

Даже без последнего флажка был ясно различим неровный круг, который те образовали.

Точней, не круг, а кольцо, ибо в центре не было флажков (немудрено: если судить по карте, там была чащоба и разрушенные скалы). Круг этот составляли кучка деревень, одинокие мельницы, фермы и хутора, почти все постоянные дворы и даже несколько городов. А далее от центра эти метки появлялись всё рассеянней и реже, пока наконец не пропадали совсем.

– Однако, – пробормотал Золтан. – Вот, значит, куда он забрался. Ну и глушь. Занятно... Но зачем он всё это делает, во имя чего? Почему?

В это время дверь каморки отворилась, и Хагт невольно попытался прикрыть карту. В руке его блеснула сталь. Впрочем, он тут же расслабился: на пороге была его жена Марта.

– Вот ты где, – с облегчением произнесла она. – Я так и знала, что ты опять залез в эту свою конуру.

– Там кто-то есть?

– Нет, все ушли. Что ты делаешь?

– Ничего.

– Ничего? – Она с подозрением оглядела комнату, приподнялась на цыпочки и заглянула мужу за спину. – Уж мне-то мог бы и не врать. У тебя глаза как у нашкодившей кошки. Это что за карта?

– Карта? – Золтан оглянулся. – Просто карта.

– Просто карта... – эхом повторила та. – Ох, Золтан, Золтан... А булавки? Скажешь, навтыкал их просто так? Что ты опять замыслил?

– Марта, перестань. – Золтан поморщился и лишь теперь убрал кинжал. Пододвинул ей одну из табуреток, на вторую опустился сам. – На, сядь. Сядь, говорю. Что за дурацкие вопросы! Что замыслил? Ничего я не замыслил.

– Ага. Тогда что ты делаешь? Что? Пересчитываешь пасеки, которые нам поставляют мёд? Изучаешь рынок сбыта молока? Думаешь, я не знаю, что творится на юге? Эти испанцы... Война у порога, а ты... Золтан, что творится? Кому ты служишь теперь, на кого ты опять подрядился работать?

– Ни на кого я не работаю! – Он устало провёл ладонью по лицу. – Марта, ты же знаешь, я давно отошёл от дел.

– Отошёл, ага... Думаешь, я не знаю, кто приходил к тебе тогда?

– Кто приходил? Никто не приходил. Когда?

– Той ночью, в сентябре. Когда настали холода.

– Я...

– Молчи. Я видела. Не знаю, о чём вы говорили, но узнать-то я его узнала. Не так уж сложно его запомнить. Сколько раз я его видела в последние пять лет, и столько раз всё шло наперекосяк. Ты обещал, что больше это не повторится. Что на этот раз? Что он посулил тебе? Деньги? Положение? Загородный дом? Очередные послабления в уплате налогов? Золтан, ты и так прибрал к рукам полгорода. Нас никто не трогает – ни власти, ни те, другие, даже воровская гильдия молчит. Ты ведь сам хотел уйти на покой, так что с тобою? Что с тобою, Золтан Хагт? Корчма приносит недостаточно дохода? Или вновь на приключения потянуло?

Золтан долго молчал, разминая свою левую, четырёхпалую ладонь, как делал всегда, когда испытывал беспокойство. По опыту Марта знала, что в подобные моменты его лучше не тревожить.

– Я не могу тебе сказать, – проговорил он наконец. – Пойми, но... я не могу. Просто поверь мне. Я ничего и никому не обещал, тот человек ни при чём. И знаешь, что... Тебе лучше забыть, что ты вообще его видела.

– В чём дело? – Марта переменилась в лице. – Тебе кто-то угрожает?

– Нет.

– Что ты замыслил?

– Марта, послушай... мне нужно будет уехать.

– Золтан...

– Постой! – Хагт выставил перед собой ладони, не давая ей вставить слова. – Я ничего не стану объяснять. Поверь мне только: это важно. Важно для жизни... одного человека. Я вернусь и всё объясню.

Та помрачнела.

– Как всегда, – с горечью сказала она и закусила губу. – Ох, Золтан, Золтан... Ты неисправим. Быть может, ты всё-таки мне скажешь... кто на этот раз?

Золтан помолчал, потом решился.

– Лис, – ответил он.

– Боже мой! – Марта побледнела, поднесла ладонь к губам. – Золтан, нет! Только не его. Он-то кому помешал? Зачем ты так?

Золтан поморщился.

– Я же говорил, что ты не поймёшь, – разочарованно сказал он и махнул рукой. – Кому он помешал, ты спрашиваешь? Да никому и в то же время всем сразу. Сам по себе он, может, и не опасен, но найдутся те, кто захотят его использовать. Знаешь, я подумал, прежде чем за это взяться. Хорошо подумал. Не хотел соглашаться. Но если за это дело не возьмусь я, возьмётся кто-нибудь другой, желающие найдутся. И этот другой с ним разговаривать уже не будет. Понимаешь?

– А ты?

– А я – буду, – мрачно пообещал тот. – Ещё как буду. Те, другие, прикончат его без разговоров. Я знаю дюжину рубак, которые за деньги мать родную прирежут, не то что какого-то травника. Гнусные же времена настали, ох, гнусные...

При этих словах Марта скептически хмыкнула. Золтан кивнул, угадав не высказанную ею мысль.

– Я тоже думаю, что номер не пройдёт: Лисёнок разделает их, хоть вместе, хоть поодиночке. Не знаю как, но если меч ещё с ним... И вот тогда за ним начнётся настоящая охота. Понимаешь, что это значит?

Марта кивнула и долго молчала, собираясь с мыслями. В пустой каморке воцарилась тишина, лишь где-то глубоко в бревенчатой стене слышалось злое «тик-тик» жука-точильщика.

– Лисёнок... – наконец произнесла она. – Столько лет прошло, он давно уже взрослый, а ты всё по привычке зовёшь его так... – Марта посмотрела мужу в глаза. – Золтан, почему? Что происходит? Ты ведь не убьёшь его? Скажи, что не убьёшь! Ведь не убьёшь?

– Оборвать бы тебе уши, да жаль, не поможет, – со вздохом посетовал Хагг, повернулся и одним движением смёл с карты все флажки. Посмотрел на один, случайно уцелевший, аккуратно выдернул его и присовокупил к остальным.

Почему-то после этого объяснений больше не потребовалось.

– Я ничего не слышала, – сказала Марта, вставая и расправляя складки юбки. – Ты ничего не говорил. Меня здесь не было.

Золтан улыбнулся уголками губ, шагнул к ней и обнял.

– Я люблю тебя, – сказал он. – Уезжай отсюда.

\* \* \*

То, что у него над головой слышны шаги, Фриц осознал не сразу. По правде говоря, проснулся он от холода – каминная труба, к которой он завёл привычку прислоняться по ночам, уже остыла. Через косые жалюзи на слуховом окне сочился серый утренний свет. Фриц поёжился, отодвинулся подальше от трубы и вдруг опознал непонятный звук, который доносился сверху. Опознал и суматошно заглядывался, прикидывая, где здесь спрятаться. Первое, что ему попало на глаза, был Вервольф; Фриц схватил его и, скомкав одеяло, на карачках перебрался за трубу, туда, где под неровным черепичным скатом крыши до сих пор таилась тень. Там он и замер, выставив перед собой стилет на уровне груди, как это делали мальчишки постарше, когда хотели порисоваться перед огольцами с соседней улицы.

Шаги на крыше не казались осторожными, наоборот – звучали тихо и легко. Кто-то шёл по самому коньку и шёл очень уверенно. Фриц спросонья даже не сразу понял, что это шаги, и принял их за шум дождя. Сам дождь давно кончился, даже крыша просохла. Некоторое время царила тишина. Пришелец деловито пошуршал и стал со стуком что-то разбирать. Дальше – больше: «крысеход» стал насвистывать, немелодично, но с задором нечто среднее между «Ах, мой милый Августин» и «Полюбила Марта брадобрея». Тут Фриц совсем растерялся, так не походило это на облаву. Стражники, во-первых, поднялись бы снизу, через дверь, а во-вторых, не ползали б по крыше, распевая песенки. Нет, стражники вломились бы как минимум втроём, ругаясь, в середине дня. А этот...

Меж тем свист прекратился. «Этот» осторожно сполз по кровле и принялся ковыряться в решётчатых ставнях. С третьей или четвёртой попытки створка поддалась, и чердак залило светом. Заплясала пыль, шлак и мусор захрустели под подошвами. Фриц за трубой напрягся, словно сжатая пружина, хотя не представлял, что будет делать, если его обнаружат.

– Так-так, – пробормотал человек, приблизился к трубе и с лёгким скрежетом пошевелил расшатанные кирпичи. – Что у нас тут? Ага... Угу... Ну, ясно.

Под ногой его что-то треснуло. Фриц похолодел: то была забытая им миска.

– Эй, а это что? – пришелец тоже разглядел находку. – Тарелка? Хм... Ещё одна... И свеча...

Повисла пауза.

– Кто здесь?

Фриц прижался к стене, сжимая в потном кулаке рукоять Вервольфа. Хруст приближался. Ещё мгновение – и Фриц смог разглядеть пришедшего.

А разглядев, едва не закричал от радости.

Только у одного человека в городе была такая худющая фигура и такой носатый профиль. Это был Гюнтер, трубочист. Фриц знал его едва ли не с пелёнок – кто ж не знает Гюнтера! Да и сам Гюнтер, не особо любивший возиться с детворой, будто взял над Фридрихом опеку: захаживал в дом, бесплатно чистил камин и даже угощал мальчишек сладостями, если был при деньгах. В глубине души Фриц считал его почти другом и забыл о нём лишь потому, что разница в возрасте меж ними была слишком велика.

Гюнтер был не единственным, но, пожалуй, лучшим трубочистом Гаммельна. Одетый во всё чёрное, худой и угловатый; его частенько можно было видеть на макушках крыш, где он чистил дымоходы, менял черепицу и чинил флюгера. Злые языки утверждали, что он и живёт на крышах, таскает из каминных труб коптящиеся там окорока и сыр, а вниз спускается лишь затем, чтоб поесть, а особенно злые – что он и сам подрабатывает флюгером на ратуше. Последнее, конечно, было шуткой, хотя фигура человека в полный рост на шпилье башни городского магистрата и впрямь имела с Гюнтером некоторое сходство (особенно нос). Работу свою он делал споро и в короткий срок, вот только почему-то брать учеников отказывался. «Молод я ещё», – обычно отвечал он. Правда, к Фрицу присматривался: маленького роста, юркий, словно ящерица, тот вполне годился Гюнтеру в ученики.

Фриц опустил стилет, вдохнул поглубже и позвал тихонько:

– Гюнтер, а Гюнтер...

Тот завертел головой, уловил движение в темноте и приблизился. Глаза его удивлённо расширились.

– Фриц? Что ли, ты? Ты что здесь делаешь? Ах, да... – он понимающе кивнул.

Фридрих осторожно выглянул наружу.

– Ты один?

– Конечно, что за вопросы! – Гюнтер подобрался ближе и присел на корточки. – Я не беру учеников, ты же знаешь. – Он поглядел на одеяло, на испачканную в крови рубаху мальчика и недовольно покачал головой. – И все это время ты сидел здесь?

– Ну да. Слушай, Гюнтер... – Фриц смутился на мгновение, но пересилил себя. – У тебя есть что-нибудь поесть?

– А? Ах да, конечно, – тот сбросил с плеч свой инструмент и зашарил по карманам. – Вот, держи.

Мальчишка жадно вгрызся в бутерброд с селёдкой.

– И давно ты здесь вот так... сидишь?

– Пять дней, – с набитым ртом признался Фриц. – Я прятался. Я... Мама... Ну ты знаешь, да? Я думал, что меня будут искать. – Он поднял взгляд и перестал жевать. В глазах его проглянула надежда. – А... разве нет? Уже перестали?

– Нет, почему же. Ищут. – Гюнтер потянул к себе сумку и принялся копаться в ней, выкладывая на пол разные верёвки, шпатели и щёточки. – Это ты, конечно, здорово придумал – спрятаться на чердаке. Вот только, знаешь, чердаки они тоже обыскивают. Догадались.

Кусок застрял у Фрица в горле. Трубочист участливо похлопал его по спине и снова занялся инструментами.

– Ты... Тебя тоже послали искать меня? – спросил Фриц, когда прокашлялся.

– Не, я трубу пришёл чинить, – рассеянно ответил тот. – Тут дымоход сифонит, вот меня и попросили посмотреть. А ты, гляжу я, тот ещё хитрец. Надо же: забрался не куда попало – к бургомистру на чердак!

– Куда?! – Фриц снова чуть не поперхнулся.

– А то ты не знал? – Он посмотрел на мальчика и посерьёзнел. – Э-э-э... Или вправду не знал?

– Нет. Гюнтер...

– Что?

– Ты ведь меня не выдашь им? Не выдашь? А?

Трубочист сосредоточенно замешивал лопаточкой цемент.

– А если я скажу, что не выдам, ты согласишься? – сказал он наконец.

– Я? – опешил Фриц. – Не знаю...

Он опустил недоеденный ломоть и долго молчал, глядя, как трубочист перебирает запасные кирпичи, обкалывает их до нужного размера и латает дырку в дымоходе. То и дело Гюнтер отступал и, наклонивши голову, рассматривал свою работу. Что-то подсказывало Фрицу, что он может трубочисту доверять. Гюнтер никогда ему не делал зла, да и сейчас не собирался, если только не играл в притворство. Фриц мог быть уверенным, что тот не проболтается о нём даже по пьяной лавочке – Гюнтер не пил ни пива, ни вина. «С моей работой пару кружек опрокинешь, а потом, того гляди, сам с крыши опрокинешься», – отшучивался он на предложения выпить. Гюнтер знал, что говорил – он многие часы оставался один на один с высотой, крутыми крышами и дымоходами причудливых конструкций и работал в одиночку, используя для страховки только верёвку. Фриц набрался смелости и наконец решился.

– Гюнтер, ты хоть что-нибудь о маме знаешь?

Тот не ответил.

– Гюнтер... что мне делать?

– Уходить отсюда, – бросил тот, не оборачиваясь.

– Уходить? – непонимающе переспросил малец. – Куда?

– Не знаю.

Воцарилась тишина. Отрывисто и мерно шаркал мастерок. Кирпич ложился к кирпичу. И так же размеренно, даже неохотно Гюнтер начал рассказывать. Начало Фриц пропустил мимо ушей – мысли его были заняты другим, но затем повествование сделало такой необычайный поворот, что Фриц невольно заинтересовался и придвинулся ближе. Даже про стилет забыл – тот так и остался лежать на скомканном одеяле.

– ...Потом мне Яцек говорил, что эти крысы разбежались кто куда. Кто в речке утонул, кто в лес побёг, кто в город возвратился. И детей обратно в город отвели. Накостыляли всем – слов нет, по первое число. Да ты, поди, уже не помнишь, слишком малый был. А парень тот так и ушёл один. Куда – никто не знает.

Гюнтер отступил, вновь смерил взглядом дело рук своих и удовлетворённо кивнул – труба была как новенькая, даже лучше. Фриц сидел, едва дыша и ожидая продолжения рассказа. Трубочист, однако, не торопился, сперва сложил инструмент и вытер руки, а потом ещё с минуту молчал, вычищая из-под ногтей твердеющий цемент. Затем достал из сумки трубку, медленно её набил, затеплил огонёк и некоторое время дымил, вытягивая дым в седые кольца.

– Вас трое было, – наконец сказал он. – Ты, ещё один малёк и девочка чуть старше вас. Она потом уехала: родители решили увезти её от греха подальше. Где тот, второй, я тоже не знаю. Вот вы втроём и баловали, пока тот, рыжий, вас не осадил. Когда на Яцека решили надавить, чтобы он принял послушание... ну, стал одним из них, он отказался и решил уйти. А перед уходом попросил меня... ну, присматривать за вами, что ли. Чтоб вы не наделали чего. Боялся он за вас, будто чувствовал неладное. А может, знал чего. И видишь, обернулось чем...

– Зачем ты мне всё это говоришь? – спросил Фриц.

– Я не священник, Фриц, – задумчиво проговорил трубочист. – И что говорят попы, не очень понимаю. А только знаю, что если у человека есть талант, то грех его губить, а не использовать для дел. Тот парень... чёрт, не помню, как его звали... Ну так он был мастер в своём деле. Яцек мне рассказывал, как они крыс из города вывели, как он потом людей лечил. Да что говорить: я сам видел, как у них в горшке там без огня вода кипела!

– Но мне-то что с того? – вскричал Фриц.

– Тише, не ори, – поморщился Гюнтер. – Уже заканчиваю. Так вот, примерно года с два тому назад я увидел его снова.

– Яцека?

– Не Яцека. Того, второго. Рыжего.

– Где? Здесь?

– Да, здесь. Помнишь, случился год отравленного хлеба?

Фриц похолодел. Помнить-то он помнил, только старался пореже эти воспоминания тревожить. Толком так и не узнали, откуда той осенью проникла в город странная зараза: люди начинали бредить, как бы спали наяву, страдали от видений целыми кварталами. Тела у них сводило судорогами, потом у них чернели и отваливались пальцы, руки, ноги... У женщин участились выкидыши. Ужас шествовал по городу, никто не знал, как спастись. Заказанные всем святым молебны не смогли помочь. Часть города скосило подчистую, как косой, другую не затронуло совсем, а в третьей кто-то заболел, а кто-то нет. Всё кончилось так же внезапно, как началось. Семейство Макса Брюннера болезнь миновала. После говорили, будто причиной была отравленная мука, но в это, дело ясное, немного кто поверил.

– Помню, – прошептал Фриц и облизал пересохшие губы. – И что?

– Вот тот парень и пришёл, когда народ валиться стал. Уж думали, чума. А он приволок два вот такенных решета, – Гюнтер показал руками, – и два дня ходил с ними по окрестным мельницам и по складам. Даже в магистрат попасть пытался, но ему отказали. Всё говорил, что надо муку сквозь них просеять, всю и непременно через эти. Ну, кто-то отказался и послал его подальше, а кто-то согласился – почему бы, в самом деле, не просеять лишний раз? Однако если б не аптекарь местный, чёрта с два ему бы удалось кого-то убедить, а так... Просеяли. Болезнь и прекратилась. Смекаешь, я к чему веду? Тогда и стали говорить, что хлеб отравлен был.

– А что на самом деле?

– Да кто его знает. Думается мне, что так, наверное, и было. Я с ним перекинулся парой слов, он объяснял, объяснял, мол, есть такая штука спорынья, на колосках растёт. Такая чёр-

ненькая, с зёрнышко величиной. Дрянь несусветная, но так-то не опасная, потому как обычно мало её в хлебе. А в тот год, видно, её много народилось, вся мука заразная была, весь урожай. Подошли б все или разорились, если бы не те его два решета. Заговорил он их, что ли...

Он помолчал и снова как бы нехотя закончил:

– В общем, я чего говорю-то. Уходи из города. Поблизости он где-то обретается, раз подоспел тогда ко времени, не позже. Спрашивай, ищи. Один раз он тебе помог, глядишь, поможет и в другой, объяснит, как жить с таким умением. А коль он знает, как лечить, дурному не научит. Я же понимаю, что никакой ты не еретик, а только объясни попробуй этим черно-рясым... Я тоже жить хочу, а так, чтоб нет – так не хочу. Вот и молчу. Меня ведь тоже как-то раз увидели в темноте – шёл, понимаешь, я весь в саже и с мотком верёвки, а у неё конец возьми и упали, и следом волочился. Тут баба шла куда-то и увидела. Как завизжит: «Чёрт! Чёрт!» – и в обморок. А тут и стража, как на грех. Три дня потом оправдывался, вся управа хохотала... Спасибо, отпустили, а всё равно не по себе. Времена паршивые, народ своей тени боится, неровен час увидят, как ты по крышам ползаешь, и донесут: у нас таких, – он показал рукой от пола, – трубочистов нету. Так что ты уходи.

– Ага, – ответил мрачно Фриц, – уйдёшь тут, как же... В каждой дырке стражники сидят. Меня на улице один раз уже схватили, я приметный. И в воротах не дураки стоят. Не, я лучше тут пока. Мне б только еды какой...

– Через ворота я тебя, пожалуй что, перевезу, – сказал Гюнтер. – У меня тележка есть, я завтра сажу повезу за город, угли, шлак... Слушай, сколько тебе лет?

– Четырнадцать... скоро будет.

– Да? – Трубочист с сомнением оглядел его от пяток до макушки. – А с виду не дашь. Это хорошо, что ты ростом мал. Сожмёшься, я тебя в мешок спрячу, никто не догадается. Ты, главное, тихо там сиди, не шевелись. И ртом дыши, а то чихнёшь от сажи с непривычки. Эх, еды у меня с собой сегодня больше нет... До утра дотерпишь?

Фриц напрягся, молча протестуя. Что-то рушилось в душе. Вся прошлая жизнь стремительно бледнела и теряла смысл, а впереди пугающим простором открывался другой, совершенно незнакомый, даже страшный мир. Он никогда не покидал пределов города, разве что совсем ненадолго, а теперь от него требовали, чтобы он ушёл отсюда навсегда.

– А как же мама?

– О матери забудь, – сказал сурово Гюнтер. – Её сейчас и в городе-то нет. Отправили куда-то. Говорят, на дознание. Такие, брат, дела.

Фриц ошарашенно молчал. В глазах всё плыло. Он покосился на окно, на одеяло, на стилет, моргнул и снова повернулся к трубочисту.

– А как зовут его... ну, этого, о ком ты говорил?

Тот невесело усмехнулся.

– Эх, парень, – ответил он, – если бы я знал! Его не зовут. Он сам приходит.

\* \* \*

В тот вечер осень плакала особенно холодными и частыми слезами, отчаянно и долго, без стыда. Потом она умолкла и посыпал снег. Ночь замесила тесто из слоистых облаков со звёздной пылью, а остатки сбросила мукой. Яростный ветрище мчался с запада, раскачивая сосны; сосны жалобно скрипели. Маленький ручей, почти водопад, не замерзающий до самых крепких холодов, дробился брызгами, не долетая до земли. Скала под ним обледенела. Большая каменная чаша переполнилась водой и тоже на краях подёрнулась ледком – зима послала в здешние края свой обжигающий привет с подругой осенью, а на словах просила передать, что, может быть, чуток задержится, но обязательно придёт. В воде, холодной и прозрачной,



серебристой мутью колыхался лунный свет – всплывал и пропадал, когда луна то выходила из-за туч, то пряталась обратно.

Ещё одно пятно света, такое же неяркое и зыбкое, отсвечивало желтизной в оконце старой хижины, в которой раньше жили рудокопы, – низкого строения из камня и белёсых сланцевых пластин. Вот только не было уже здесь ни руды, ни рудокопов, и если б кто сейчас увидел этот свет, то очень удивился бы. Возможно, даже испугался. А может быть, и нет – в такую ночь путник любому жилищу рад.

Выл ветер. Сыпал дождь. Скрипели сосны. В доме в очаге горел огонь.

Вот только некому было на это смотреть.

Человек, склонившийся над книгой за столом, вдруг поднял голову, будто прислушиваясь к пению бури за окном, и отложил перо. Вгляделся в темноту перед собой, нет, даже и не в темноту – куда-то дальше; лицо его приобрело сосредоточенное выражение. Несколько минут он напряжённо размышлял, потом тряхнул гривой рыжих волос и встал из-за стола. Подошёл к очагу, поворошил дрова. Пламя вспыхнуло ярче, в трубе загудело.

– Слишком много, – проговорил он, то ли сам себе, то ли обращаясь к пламени на каменке. – Яд и пламя, этих нитей слишком много. Прямо узел какой-то. Не могу понять... Не могу.

Человек зажмурился и долго разминал пальцами веки, а после – переносье и виски усталым жестом переписчика. Открыл глаза. Взгляд его упал на полку над камином, заваленную бесполезной мелочью. Казалось, здесь устроила гнездо сорока – тут были камешки всех форм и расцветок, обрывки ткани, зубы, деревяшки, медные позеленевшие монеты, птичьи перья, остроугольные осколки зеркал, черепки разбитых кружек... Некоторое время рыжий парень стоял, разглядывая этот хлам, потом взял с полки маленький серый мешочек и вернулся к столу. Решительно захлопнул книгу, сдвинул её в сторону, убрал лист пергамента и чернильницу с пером, развязал горловину мешочка и высыпал на стол пригоршню маленьких костяшек с выжженными на них гадательными рунами. Медленно пересчитал их, шевеля губами, перевернул все, что легли значками вверх. Перемешал. Сосредоточился, бездумно перемешивая полированные плашки, целиком отдавшись ощущению гладкой кости под подушечками пальцев.

Выбрал первую, вторую, третью.

Ещё одну.

Ещё.

Открыл все пять, сгрёб оставшиеся в сторону и склонился над получившимся раскладом, сосредоточенно нахмурившись. Поскрёб ногтями подбородок, заросший дико рыжей и неряшливой щетиной, провёл рукой по волосам, затем, не глядя, подтащил к себе ногою колченогий табурет и сел, локтями опёршись на стол.

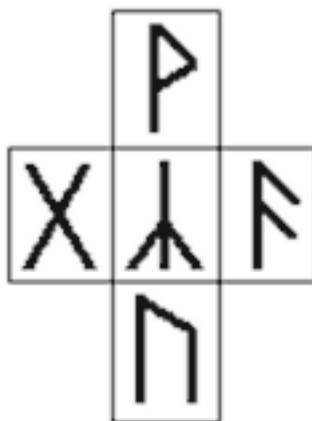
Подумать было над чем.

Справа налево выпали поочерёдно: похожая на половинку ёлочки Ansuz, перевёрнутая вниз рогами Algiz и Gebo, косая, как крест святого Андрея.

Наверх легла Wunjo.

Вниз – Uruz.

Всё вместе это выглядело так:



Расписанные плашки, эти игральные кости Судьбы, явили свой расклад. Гигантский веер неопределённости стремительно сдвигался, складывался, отсекая лишнее, оставляя вместо бесконечной свободы выбора конечную свободу действий, долг, и то, что не изменишь. Некоторое время человек в заброшенной горняцкой хижине у старых оловянных рудников задумчиво созерцал, что ему выпало, одновременно собирая оставшиеся руны обратно в мешочек. Поленья в очаге успели прогореть, ветер стремительно вытягивал тепло, гремел чугунной вьюшкой.

– Ас Один, с ним Защита и Подарок, – пробормотал он наконец, словно не замечая подступающего холода. – В помощь – Радость Ветра. Помехой... хм... помехой – Тур. Сиречь Бык. Защита... почему Защита вверх ногами? То есть не меня, но я? Кого мне защищать? Хм...

Внезапно какая-то мысль пришла ему в голову, он вновь воззрился на костяшки рун, и лицо его медленно исказилось пониманием.

– Яд и пламя, – выдохнул он. – Неужели... Только этого мне не хватало!

Он вскочил и принялся ходить туда-сюда по дому, разжимая и сжимая кулаки и бормоча себе под нос:

– Нет, не может быть... Хотя, почему не может? Запросто. Но почему сейчас? Почему именно сейчас, когда я к этому совершенно не готов? Почему не раньше, не потом?

Ветер взвыл и с разбегу ударил в окно, составленное хитроумным образом из донышек от бутылок. Пламя фыркнуло, на краткое мгновение высветив углы, и враз погасло. Потянуло дымом. Рыжий вздрогнул, оглянулся и потёр шрам на виске.

– Гадство, – с горечью сказал он. – Как нарочно. Вот же гадство...

Пять рун лежали и отсвечивали жёлтой костью в пламени свечи, и строки нового заклания, выпавшего ими, не сулили ничего хорошего.

Приближалось...

Нет, не так.

Не приближалось, а уже настало оно самое.

Время перемен.

## Нигде

*Чья беда, что мы все навсегда уходили из дома?*  
*Ревякин<sup>5</sup>*

Дорога вещь такая: только ступишь – уведёт. Об этом Ялке говорили сотню раз, однако теперь она смогла в этом убедиться самолично. До этого она ни разу не уходила так надолго и настолько далеко, тем более одна. Бродяжить оказалось нелегко. В песнях менестрели воспевают вольный ветер, голубое небо, солнце и зелёную листву, которая и кров, и стены, и постель. На деле пожелтелая листва уже устала облетать, а ветер продувал насквозь, несмотря на тёплый кожушок и вязаную шаль. На небе кучковались тучи, никакого солнца не было и в помине. Ей повезло хотя бы в том, что не было ни снега, ни дождя. Идти оказалось тоскливо. Да и о какой весёлости могла быть речь, когда идёшь куда глаза глядят? Поначалу она пыталась вспоминать какие-то стишки и песенки, потом стала считать шаги, потом ей опостылело и это. Теперь Ялка просто медленно брела, всё время опасаясь поскользнуться и упасть, то вдоль опушки редколесья, мимо зарослей смородины и бузины, то вдоль чернеющих полей, то скошенных лугов, неровно пересыпанных снежком. Она смотрела только под ноги и ничего не видела вокруг. Дорога чёрным месивом ложилась под подошвы деревянных башмаков, подол юбки намок, стал грязным и тяжёлым. Кое-где на полях копошились одинокие фигурки крестьян, собирающих остатки урожая, пару раз ей попадались гружёные возы, но большую часть времени дорога по причине осени и непогоды была безлюдна и пуста, что отчасти Ялку даже радовало. Только сейчас до неё стало доходить, что никакого плана поисков загадочного ведуна у неё нет и не было. Дважды ненадолго Ялка забиралась в лес «по делу» и оба раза набредала на кусты лещины с уцелевшими орехами, а вечером нашла на поле большую недокопанную брюкву размером чуть ли не с собственную голову и прихватила её с собой.

Когда стустились тени, Ялка поняла, как было опрометчиво с её стороны пуститься в путь под вечер – осенью темнело рано и ужасно быстро. Места для ночлега поблизости не наблюдалось. Две деревни Ялка миновала, не решаясь в них остановиться – всё ж таки её там знали, и любая попытка у кого-нибудь заночевать была чревата всевозможными расспросами: куда, что, почему, а там и за родственниками могли послать.

Мешок свинцовой тяжестью тянул к земле, спина и поясница ныли, умоляя сесть и отдохнуть. Ялка здорово устала и не на шутку замёрзла. Она остановилась и огляделась. Из-за туч едва проглядывали звёзды, ветер стал сухим, крупной посыпал снег. Мысль провести ночь на открытом месте, в поле, не показалась ей удачной. Недолго думая, девушка свернула в придорожные заросли, облюбовала маленький распадок и решила дальше не идти. К её неописуемой радости, там оказалось что-то вроде балагана, где, должно быть, летом отдыхали грибники или вангеры<sup>6</sup> – большая скамья и плетёный навес, уже заметно просевший под тяжестью первого снега. Ялка скинула котомку и долго высекала огонь. Без топора и без пилы она смогла лишь набрать валежника, а тот изрядно отсырел. Костёр дымил, трещал, плевался искрами, ежеминутно норовя прожечь на юбке дырку, а тепла давал ровно столько, чтоб не бил озноб. Согреться по-настоящему не получалось, от земли тянуло сыростью. Скорчившись у костерка, Ялка распаковала взятую с собою снедь. Задумалась на миг, не собирать ли грибов, но от мысли, что придётся ползать в потёмках, копаясь в снегу, всякая охота к поискам пропала. Тем более что уходя она не взяла ни котелка, ни сковородки, ни какого-нибудь масла. Ялка затачила пруттик, насадила на него рядом сухие масляные лепёшки-ольекоекки, подержала их над

---

<sup>5</sup> Дмитрий Ревякин, «Уходили из дома».

<sup>6</sup> Vanger (нидерл.) – букв. «Ловец». В данном случае имеются в виду птицеловы.

огнём и принялась за еду. Вкус горячего хлеба с поджаренной корочкой мгновенно напомнил о доме и тепле. Ялка не заметила, как съела всё, и с трудом удержалась, чтобы не поджарить ещё (надо было что-нибудь оставить и на завтра), запахнулась поплотнее в шаль и принялась за брюкву, нарезаая её кружочками и точно так же запекая над костром.

Огонь разгорелся и теперь с охотой пожирал любые палки и коряги. Ялка стащила башмаки и чулки, расположила их сушиться на рогульках у костра так, чтобы те не загорелись, и с наслаждением подставила теплу босые пятки. Ещё перед ночлегом она еле сволокла к кострищу большое бревно, которого должно было хватить на всю ночь. Теперь оно отпарилось и с одного боку занялось. Ялке стало жарко, она распустила завязки лифа, затем подумала и совсем сняла корсет, оставшись только в тёплом колушке поверху рубашки. Шаль девушка свернула ещё раньше, не без основания боясь прожечь её на искрах.

Ночь вступила в свои права. Что удивительно – страха не было. Ни темнота, ни звери Ялку не пугали, гораздо больше донимали холод с сыростью. Когда они отступили, девушку стали одолевать разные мысли. Пожалуй, лишь теперь она по-настоящему задумалась, зачем и почему она ушла искать знахаря.

Сперва она решила, что причиной были только злость и безысходность. Потом подумала ещё и поняла – не только они. Здесь было что-то странное, совсем иное. Наконец она нашла нужное слово: беспокойство.

Её снедало беспокойство. Неуверенность. Какая-то неясность, связанная с матерью, со стариком и с нею самой. И никто не мог помочь и объяснить. И этот его взгляд... Как будто травник хотел сказать ей что-то, но не мог, силился припомнить – и не вспомнил.

Внезапно Ялка вздрогнула от понимания. Этот взгляд был ей знаком.

Даже больше. Этот взгляд был ей знаком: «Уходи».

Теперь она была в этом уверена. Где, как, когда она могла видеть его раньше? И видела ли? Или это ей просто придумалось? Жизнь, которая в последние три года обесцветилась, лишилась красок, вдруг переменилась, словно с приходом травника в её душе пробудилось что-то старое, забытое. Хорошее или плохое – она не смогла бы сказать. Но это было нечто, ей доселе не известное, будто на мгновение глаза её открылись... и закрылись вновь.

И слепота теперь была невыносимой.

– Ну хорошо, – проговорила она, сплетая пальцы рук и глядя на огонь костра. – Что я скажу ему, когда найду? «Зачем ты приходишь?» Нет, пожалуй, не так, пожалуй, лучше будет: «Почему ты приходишь не ко всем больным, а только к тем, к кому... хочешь?» Хм... А он возьмёт и скажет: «А тебе что за дело?» И вот тогда... Тогда я расскажу ему... про маму, про деда и спрошу... спрошу его...

Веки слипались. Собственная болтовня звучала блёкло и бесцветно, убаюкивала. Нахлынули воспоминания: мама, живая и здоровая, стоит с улыбкой на крыльце и машет ей рукой. Костёр в глазах двоился. За кустами зашуршало. Ялка смолкла, встрепенулась: показалось, будто кто-то стоит возле дерева и смотрит на неё. Сердце кинулось в галоп, рука сама искала нож, однако стоило взглянуть на дерево впрямую, стало ясно, что тревога ложная. Причиной шороха оказался толстый и седой барсук, усердно разгребавший палую листву. Он что-то выкопал, сожрал, мигнул на Ялку чёрными глазами, облизнулся, фыркнул и исчез в кустах.

– Всё, – сказала девушка сама себе. – Пора и честь знать, надо спать ложиться.

Волков в окрестностях деревни отродясь никто не видывал, другие звери тоже были здесь в диковинку, костёр в распадке с дороги не замечен, и опасаться Ялке по большому счёту было нечего. Она расправила одеяло и постаралась усесться поудобнее. Однако сон не шёл. Земля была холодной, и Ялка, опасаясь застудиться, так и просидела всю ночь на скамье, прислонясь спиной к дереву. Мелькнула даже мысль: не лучше ли будет вернуться...

...Когда Ялка протёрла глаза, было уже утро. Костёр прогорел, зато солнце было высоко, светило ярко, пробиваясь сквозь сплетение нагих ветвей над головой. Воздух резко потеплел.

От вчерашнего снега не осталось и следа. Настроение у девушки сразу улучшилось. Вдобавок, смутная идея, что забрезжила вчера, приобрела реальные черты – Ялка окончательно решила, что сегодня зайдёт на постоянный двор или в харчевню и попробует наняться на работу. Дня на два, на три, не больше. А потом пойдёт опять.

Так, размышляя о хорошем, Ялка выбралась на тракт, отряхнула юбки от приставших листьев и хвои и бодро двинулась вперёд.

Юбку она всё-таки прожгла. Хоть и не сильно.

\* \* \*

– Эй, Бенедикт! Здорово. Камо грядеши, мазила?

Худой носатый парень с волосами цвета тёмной меди, одетый в чёрную бархатную блузу, перехваченную у шеи шёлковым зелёным бантом, оглянулся на кричащего, узнал его и в свою очередь приветственно махнул рукой.

– А, Ганс. Привет.

– Приветик. Славненький денёк. – Ганс подошёл ближе и прищурился на солнце. Оглядел приятеля и свистнул. – Куда это ты вырядился? Небось, опять к Ивонне клеишься? Смотри, достанет тебя Клаус, ох достанет. Обломает те пальцы, чем малярить будешь?

– Ещё чего! – Бенедикт поднял нос повыше. – Вовсе я не к Ивонне. Я к бургомистру иду.

– Ишь ты! К бургомистру? Врёшь, поди.

– Ничего подобного. Как есть иду до господина Остенберга. Важный заказ.

– Ну! А что там? Страсть как интересно. Покажи!

Бенедикт поспешно спрятал свёрток за спину.

– Не велено показывать. Секрет.

– Ну-ну, – Ганс добродушно ухмыльнулся. – Знаем мы секреты энти. Небось, жене ево патретик захотелось, как в столице у больших вельмож, вот и пыжишься. Похоже хоть нама-левал-то, а? Покажь, чего ты. Другу-то покажь.

– Ганс, ну тебя! Болтаешь невесть что... И вообще, мне пора.

– Иди, иди... Гольбейн несчастный. Бывай здоров.

– Тебе того же.

Парнишка в чёрной блузе поудобнее перехватил под мышку плоский – локтя два на полтора – бумажный свёрток, оглядел себя со всех сторон, поправил бант и зашагал, довольный своим видом, весело насвистывая.

Сын и бывший ученик (а ныне – подмастерье) старого художника Норберта ван Боотса, Бенедикт ван Боотс одет и впрямь сегодня был с потугой на щегольство. Кроме упомянутой блузы, на парне были новые короткие штаны с брабантскими манжетами и пряжками, чулки в зелёную полоску в тон банта и шляпа чёрного сукна, похожая на перевёрнутое ведёрко. Нос, тонкий и породистый, осёдлывали окуляры – парень был близорук. День выдался на редкость солнечный, Бенедикт, одетый в чёрное, парился и потел. За несколько шагов от парня терпко пахло красками, холстом и конопляным маслом.

Ученик художника был страшно горд. Ему доверили заказ. Пусть незначительный, но первый собственный, всамделишный заказ. Неделю назад бургомистр прислал семейству Боотсов письмо, в котором повелел явиться в городскую ратушу, принял их в собственном кабинете, где любезно предложил вина и объяснил, что требуется, посулив, естественно, вознаграждение. Небольшое, но, как после выразился Норберт, «вполне соответствующее для средней паршивости маляра». Бенедикт дневал и ночевал у мольберта. Надо сказать, папаша Норберт не отличался тактом и был скуп на похвалы. Критически оглядев готовый холст, он пробурчал: «Мазня, конечно, но за пять флоринов грех требовать большего» и посоветовал тащить его скорее к бургомистру, «покуда краски не осыпались».

– Вот видишь, – сказал он, старчески кашляя в ладонь и кутаясь в суконную, заляпанную красками хламиду, – не зря я тебя тогда этюды с мельниц заставлял писать. А ты артачился: «зачем, зачем», шестую, дескать, мельницу рисую... Никогда не знаешь, что в жизни пригодится. Слушайся отца – человеком станешь. Ну, чего встал? Или ждёшь, что деньги тебе на дом принесут? Давай, бездельник, собирайся.

Бенедикт достаточно хорошо знал своего отца и прекрасно понимал, что работой сына тот доволен безмерно, а потому, откушав карпа с пивом, нарядился в праздничное платье и отправился до бургомистра.

Норберт же ван Боотс, едва за сыном приоткрылась дверь, потирая руки двинулся на кухню, где жена уже раскошегарилась плиту.

– Собирай на стол, Хедвига, – с плохо скрываемым торжеством пробурчал он, – праздновать будем. Сын у тебя художником растёт.

На площади у ратуши царили тишь и благодать. На миг парнишка задержался у дверей. «Как всё-таки мне нравится наш старый добрый Гаммельн, – с несвойственной для его возраста нежностью подумал он. – Когда-нибудь я выберусь на холм, который на востоке, и попробую написать вид города оттуда. Это будет мирная и очень тихая картина. Да, очень тихая картина очень мирного города».

Бенедикту казалось, будто на него все смотрят, хотя на деле редкие прохожие не обращали на него внимания. По щербатой брусчатке бродили голуби, выискивая крошки. Бенедикт постучался, сообщил привратнику, кто он и зачем пришёл, и был допущен на второй этаж до кабинета бургомистра.

Герр Остенберг когда-то был румяным, пышущим здоровьем толстяком, но с возрастом обрюзг, стал рыхлым и оплывшим. Нос его был переломан – следствие давнишнего, почти легендарного падения, когда пол в старом доме бургомистра провалился. Когда Бенедикт вошёл, герр Остенберг вёл приватную беседу с монахом, судя по одежде, доминиканцем. Монах был невысоким, круглолицым, с тонзурой, переходящей в лысину, и всё время улыбался. Оглядевшись, Бенедикт понял, что ошибся – монахов было двое: в уголке сидел парнишка лет четырнадцати с чернильницей и цилиндрическим футляром для бумаг и перьев. В окошко бился лёгкий ветерок, колыша занавески. На столе стояли фрукты и вино.

– А, вот и наш юный живописец, – бургомистр поставил на стол пустой бокал. – Весьма кстати, мой друг, весьма кстати. Э-э-э... Вы очень вовремя пришли – отец Себастьян как раз спрашивал о вас.

– Польщён. – Бенедикт ван Боотс снял шляпу, отвесил двум священникам поклон и огляделся в поисках места для картины. – Куда прикажете поставить?

– Э-э-э... пока что никуда. А вот бумагу разверните.

Бенедикт послушался. Некоторое время все сосредоточенно рассматривали полотно. Наконец Томас Остенберг откинулся назад и удовлетворённо кивнул.

– Ну что же, сходство наблюдается, – сложив ладони на округлом животе, заметил он. – Наблюдается э-э-э... сходство. Я вижу, вы не посрамите имя своего отца. Батюшка не помогали рисовать?

– Ну что вы, – Бенедикт насупился и покраснел варёным раком, – как можно...

– Хе-хе, шучу, шучу... – Толстяк протянул руку к кувшину. – Вина, молодой человек?

– Благодарю. С огромным удовольствием.

Вино из Мозеля янтарной струйкой полилось в тюльпан зелёного стекла. Бенедикт пригубил, сделал два глотка и воспитанно отставил бокал прочь. От волнения и с непривычки у него зашумело в голове.

– Скажите, сын мой, – нарушил молчание монах. Тон его был мягок, но при этом неприятно настораживал; вдобавок в его речи звучал не сильный, но вполне отчётливый испанский акцент. Бенедикт вздрогнул и обратился в слух. – Скажите, вы ручаетесь, что это он?

– Святой отец, я же художник, у меня на лица память... – Тут он поймал на себе взгляд пристальных монашеских глаз, сглотнул и торопливо закончил: – Да. Ручаюсь.

– Гм, – монах ещё раз с откровенным интересом взглянул на портрет. – А хорошо ли вы успели его разглядеть?

– У меня было достаточно времени, чтобы запомнить: я видел его раза три или четыре. Два раза – очень близко, вот как вас сейчас.

– Вот как? Похвально, молодой человек, похвально. Что ж, – он повернулся к бургомистру, – пойдёмте прогуляемся, герр Остенберг? Как вы считаете, в свете некоторых новых обстоятельств? Тем более что появился новый повод провести нашего... подопечного.

Бургомистр сморщился – выглядело это как нечто среднее между безразличной гримасой и улыбкой. С профессиональной сноровкой Бенедикт привычно «срисовал» черты и выражения лиц. Все трое, казалось, были взвинчены, возбуждены. Мальчишка-секретарь за всё это время не проронил ни слова, сидел как статуя и не шевелился.

– Ох уж, вы и скажете, брат Себастьян. Прогулка – надо же! А может, обойдёмся?

– Я бы рад, но что поделать, – развёл руками тот. – Nobles oblige<sup>7</sup>.

– Да, да... Ну что же, – бургомистр со вздохом встал и подобрал со стола перчатки. Поворотился к Бенедикту, сделал знак рукой: – Оставьте бокал, юнкер, берите картину и идёмте с нами. Это вам не повредит.

Спорить с бургомистром Бенедикт не решился.

– Не туда, юноша, – окликнул его на лестнице бургомистр, когда ученик художника направился на улицу. – Не к выходу. Идите за нами и не отставайте.

Далее началось странное (по крайней мере, странное с точки зрения Бенедикта). Они свернули в неприметный закуток за лестницей, где бургомистр отворил какую-то дверь и жестом пригласил следовать за ним. За дверью обнаружился гвард городской стражи, пусть без алебарды, бесполезной в узком коридоре, но в кирасе и с увесистым пехотным палахом; гвард встал навытяжку и отдал честь.

Ступени уводили вниз. Потолок и стены закруглялись в свод, бурые камни покрывали плесень и селитра. Чадили масляные лампы. Бенедикт недоумевал всё больше, так не укладывалось это в привычную картину жизни городского магистрата. Они спускались всё ниже, куда-то к городской канализации, когда своды лестницы сотряс ужасный крик, донёсшийся из-под земли. Бенедикт выпустил картину, развернулся и рванул через ступеньки вверх по лестнице, но сразу натолкнулся на большой и неожиданно тугий живот спускавшегося следом брата Себастьяна. Монах небрежно подхватил его, не позволив упасть, и ловко развернул обратно, даже не покачнувшись.

– Идите вниз, юноша, – сказал он мягко, но всерьёз. – Идите. Вам нечего бояться. И подберите портрет, пожалуйста.

Картина каким-то чудом уцелела. Спустились ниже. Бенедикт шёл на подгибающихся ногах, всё время поправляя сваливающиеся очки, – от пота нос стал скользким. Вскоре показалась ещё одна дверь, за которой их взорам открылось небольшое помещение, опять со сводом потолка и дико каменными стенами. Пахло потом, дымом, землёй и ещё чем-то, что Бенедикт сперва не опознал, но догадался, как только взгляд его упал на пол.

Пахло кровью.

Посредине помещения стоял огромный стол с приделанными к нему в разных местах воротками и тисочками, верёвками и страшными даже на вид зажимами. Разложенные рядом инструменты вызвали в памяти не то лавку мясника, не то мастерскую слесаря. В корзине из железных прутьев полыхал огонь. Окошек в уютном помещении не было.

---

<sup>7</sup> Положение обязывает (лат.).

Крик повторился, Бенедикт присел и суматошно завертел головой, рискуя снова потерять очки. Схватил их, торопливо водрузил на нос, нашёл источник звука и попятился.

На стене, растянутая на цепях, висела длинная фигура человека. Руки были схвачены в запястьях так, что ноги не доставали до пола около двух футов. Взгляд художника помимо воли сразу отметил некую нелепость, нарушение пропорций человеческого тела. Долгий опыт зарисовок по античным образцам и с натуры подсказывал: что-то не так, но что – Бенедикт никак не мог понять. Потом вдруг понял и закрыл глаза. К ногам пытаемого были подвешены корзины, в которых бугрились камни и железки; его руки в локтях и ноги в коленях были вывернуты из суставов.

К горлу подступила тошнота. Вино подпрыгнуло в желудке и плеснулось в горле, Бенедикт привалился к стене, икнул и сглотнул жгучий комок. От камней тянуло холодом и терпким запахом селитры. Хотелось домой. Шершавый подрамник отражал удары крови в подушечках пальцев. Огонь в жаровне тихо, раздражающе потрескивал.

– Ну, – слышался голос брата Себастьяна, – что у нас нового?

– Ничего, – ответил кто-то хриплым низким голосом. – Артачится, собака. Говорит, что ничего не знает.

– Железом пробовали?

– Не-а, тока начал. Да не волнуйтесь, ваш'ство: у нас заговорит. И не такие заговаривали.

Бенедикт открыл глаза и с удивлением обнаружил, что в подвале кроме них и тела на стене есть ещё человек, столь грузный и высокий, что непонятно было, как он его не увидел сразу. Сейчас он вышел из тени и стоял возле жаровни, размеренно поворачивая над огнём огромные зубатые щипцы. Зубцы зловеще тлели зимней вишней, постепенно раскаляясь докрасна. Бенедикт всмотрелся и признал в чудовище Эраста Рихтера – городского палача. Почему-то от этого открытия ему сделалось ещё хуже.

Бургомистр сморщился.

– Однако же, какая вонь, – сказал он, вынул из кармана беленький надушенный платок, с брезгливым видом поднёс к перебитому носу и закончил гнусаво: – Деужели дельзя было без эдого?

– Уж извиняйте, а без энтото не можно. – Эраст плюнул в огонь и повернул щипцы. Железо пшикнуло отрывисто и жарко. – Екзекуция, так сказать, установленная процедура.

Брат Себастьян меж тем остановился возле узника, внимательно всмотрелся ему в лицо, прищёлкнул пальцами и сделал экзекутору знак подойти.

– Освежите его, милейший. Да быстрее.

– А? Сей секунд. – Эраст отложил щипцы, наклонился над бадьёй, плеснул на узника водою из ковши и повернулся к брату Себастьяну: – Пожалте, ваш'ство, готово.

Монах пощёлкал пальцами у пленника перед лицом. Тот застонал. Открыл глаза.

– Итак, мы продолжаем отпираться, – мягко произнёс монах. – Не опускать глаза! – тут же рывкнул он так, что Бенедикт подскочил на месте, и продолжил прежним доверительным тоном: – Быть может, уговоры господина Рихтера помогли вам припомнить, как и где вы подрядились помогать слугам дьявола проказить в городе и где вы должны были встретиться с ними после?

– Зачем вы мучаете меня? – простонал тот. – Я рассказал вам всё, что знал. Я ничего не скрываю, я не сделал ничего плохого... Я только провёз мальчишку в мусорном мешке... в своей тележке... Я говорил уже. Я ничего не знаю, где он и куда пошёл... я только... я сказал про этого... Я говорил уже...

Голос медленно утихал. Брат Себастьян опять прищёлкнул пальцами.

– Эраст, ещё воды.

– Счас. Чёртова задница, опять откинулся... Ох, простите, святой отец, не сдержался.

– Ничего, ничего, – монах обернулся к Бенедикту. – Э-э-э... юнкер, подайте портрет.



На ватных ногах Бенедикт приблизился и протянул ему картину. Монах с треском разорвал обёртку и поднёс раму с холстом поближе к глазам человека, висящего на цепях.

– Эраст, подвиньте свет, чтоб он увидел. Ближе. Ещё! Так, хорошо. Это он?

Узник с усилием поднял голову. С его заросшего щетиной подбородка капала вода, под глазами набрякли круги, рот был окровавлен, волосы – опалены. Лишь поэтому Бенедикт не сразу распознал в нём городского трубочиста по имени... по имени...

– Я спрашиваю: это он?

– Да, это он, – прохрипел человек на стене. – Это Лис... Тот травник. Это к нему я посоветовал идти мальчишке. Я не виноват... Я хотел как лучше, я не знал... Он спас наш город, когда был мор, я думал... он ему поможет... я не знал...

– Кто он такой? – отрывисто спросил брат Себастьян, подымая портрет ещё выше и почти тыча рамой узнику в лицо. – Где он живёт? Откуда ты его знаешь? Отвечай.

Гюнтер, вспомнилось Бенедикту. Трубочиста звали Гюнтер.

Колени его тряслись.

– Не знаю, – Гюнтер облизнул мокрые губы пересохшим языком. – Я не знаю. И никто не знает. За что вы меня мучаете? Я ни в чём не виноват! Я мирный гражданин, я никогда не делал ничего плохого. Уберите тяжести, смилуйтесь... Простите...

– Бог простит, – всё тем же мягким тоном сказал монах и, развернув портрет, всмотрелся в резкие черты изображённого на нём человека. Высокие скулы, шрам на виске, рыжие волосы. Синие глаза смотрели цепко и внимательно.

Когда бургомистр заказал ученику художника написать этот портрет, Бенедикт решил, что картину, наверное, повесят на почётном месте в ратуше в знак признательности к травнику, который, как ни поверни, спас город от заразы, и потому постарался изобразить его задумчивым и мудрым. В меру сил ему это удалось, но только в меру сил. Задумчивым ведун не получился, мудрым тоже. Получился мрачным. Фоном для портрета Бенедикт ван Боотс по какому-то наитию избрал не мельницу, не город, а какую-то скалу, хоть это было нарушением всех существующих канонов. В итоге теперь, при свете лампы и жаровни, в чертах травника угадывалось что-то нечеловеческое, пожалуй, даже демоническое.

Впрочем, в этом ужасном подвале все они немного смахивали на чертей.

Бенедикт напрягся, невольно сравнивая портрет с тем оттиском скуластого лица, который отпечатался в его надёжной памяти художника. Той осенью отец решил, что сыну стоит попрактиковаться на писании пейзажей. Синие ветряные мельницы с их вертикальным силуэтом, черепитчатыми крышами, окошками крестом и веерным размахом крыльев привлекли мальчишку более всего – среди полей, лугов и каналов они смотрелись очень живописно, и за них всегда цеплялся взгляд. Норберт ван Боотс работу сына скупой похвалил, тут же указал на ряд недостатков и снова выгнал писать этюды, пока не наступили холода. В общей сложности Бенедикт запечатлел, наверное, мельниц двадцать. Примерно дюжину из них при нём и посетил тот самый травник (он посетил бы и вторую половину, да только остальные ветряки были водяными насосами). Произошло это аккуратно в разгар загадочного мора, о котором в памяти Бенедикта остались самые неприятные воспоминания. Сначала Бенедикт не обращал на знахаря внимания, но вскоре заинтересовался им и даже сделал с него пару набросков, которые, впрочем, потом потерял.

– Ну, что там получается в итоге? – обратился брат Себастьян к писцу, не отрывая взгляда от портрета. – Зачти допросный лист, Томас.

Парень вскрыл пенал и зашуршал бумажками. Достал одну. Прищурился.

– Г-гюнтер Хайце, – объявил он и облизал пересохшие губы. Голос у него оказался невыразительным и ломким, как слюда. – Т-трубочист. Д-двадцать три года, не женат, работает по дог-говору с магистратом. Арестован по доносу г-господина К-карла Ольвенхоста, к-к-к... который указал, что видел, будто оный трубочист на пустыре вытряхивал мешки и выпустил

из од-дного мешка мальчишку, описанием похожего на упомянутого Фридриха Б-брюннера. М-мальчишка убежал. Г-господин трубочист задержан городской стражей два дня назад, п-подвергнут д-допросу и признан виновным в пособничестве нечистой силе и ч-чёрной магии. В противозаконных поступках ранее замечен не был, н-но семь недель назад п-прикидывался дьяволом, пугая обывателей.

– Ну что ж, – вздохнул брат Себастьян, – картина складывается вполне понятная и очень даже объяснимая. Очень хорошо, что мы как раз в это время оказались в вашем городе, герр бургомистр. И очень жаль, что в таком славном городе, как ваш, зло столь глубоко пустило гнусные ростки.

Герр Остенберг развёл руками (а верней сказать – рукой).

– Я, браво же, де здаю, чдо згададь, – прогундосил он из-под платка. – Бонимаете, звядой одец, у даз злучилзя бор, зараза, а эдод баредь брижёл и бредложил бомочь... Од сказад...

– Да уберите вы свой платок!

Бургомистр убрал платок так быстро, словно побоялся, что его сейчас отнимут вместе с носом.

– Он сказал, – скороговоркою закончил он, – что всему виной какой-то ядовитый гриб, который в этот год пшеница уродила вместо хлеба. И что надо просеять муку. Принёс большое решето и начал ездить с ним по мельницам. Я дал разрешение. Господин Готлиб поручился за него, это известный аптекарь, уважаемый человек, к сожалению, ныне уже покойный. Кто мог знать...

– Всё это чушь и чепуха, – поморщился монах. – Пшеница уродила гриб! А кошки в этот год щенят не приносили? Известно, что все болезни проистекают от воспаления и застоя внутренних соков человеческого тела, а также от чёрных помыслов человеческой души, невоздержания, обжорства либо прелюбодейства. А то, что приключилось в вашем городе, есть типичный пример того, какими хитрыми путями действует Дьявол, сначала засеая семя немочи и боли, а потом являясь в виде знахаря, спасителя, освободителя или ещё кого, вселяя в сердце простолюдинов недоверие к матери-церкви и её слугам, а в итоге – к Господу Христу, да святится имя его. Нечто подобное однажды случилось в городке Вильснак, когда там стали покрываться кровавыми пятнами гостии для причастий.

– Боже всемогущий! – бургомистр перекрестился. – И что же?

– Ничего. Милостью короля святая инквизиция провела дознание и выявила заговор еретиков, которые прокалывали гостии, после чего святые хлебы кровоточили. Если мне не изменяет память, там было сожжено двенадцать человек, и только после этого всё прекратилось. Нет, оцените, а? – это была ровно дюжина. Какое глумление над числом учеников Христа! Да, сударь, Дьявол никогда не упускает случая вбить ещё один гвоздь в тело Христово. Но вас винить я не могу, вами двигали искренние побуждения.

Бургомистр побледнел, однако возражать не стал, лишь отвесил поклон.

– Взгляните, – указал меж тем брат Себастьян на травников портрет. – Вроде бы обычное лицо. Кто бы мог подумать, что прислужник Сатаны скрывается в таком невзрачном облике... Скверна, скверна в душах человеческих. Еретики прячутся под масками добропорядочных граждан. Что же, юноша, я думаю, что вы великолепно справились с работой. Господин бургомистр, соблаговолите уплатить ему по счёту. И...

Монах поколебался. Повернулся к Бенедикту.

– Вы работаете карандашом?

– Да, святой отец.

– Свинцовым? Угольным?

– Разумеется, свинцовым. – Бенедикт обнаружил, что рад возможности выговориться – по крайней мере, это на какое-то мгновение позволило ему забыть о страшной фигуре на

стене. – Видите ли, уголь имеет свойство осыпаться, и краски потом плохо держатся. Как всякий живописец, я сперва делаю набросок и только потом...

– Не важно, – поднял руку монах. – Можете не продолжать. Я попрошу вас сделать для меня карандашный рисунок... – Он покосился на мальчишку-монаха, стоявшего в углу с землистым от неровной бледности лицом, и поправился: – Два карандашных рисунка этого... человека. – Он указал на портрет. – Постарайтесь изобразить его так же хорошо, мой юный друг. Сможете сделать это, скажем так, до послезавтра?

– Да. Я смогу. Но...

– Вот и превосходно. Что ж, господа, идёмте отсюда. Эраст, продолжайте допрос. Выясните, где, когда и при каких обстоятельствах он познакомился с этим рыжим ведуном, какие ещё богомерзкие дела они с ним вытворяли, кроме кипячения горшков с водой без огня, и кто ещё был в их делах замешан. Томас, останься и протоколируй.

– Не извольте беспокоиться, ваш'ство. Сделаем.

Сказавши так, Рихтер натянул рукавицы и потащил из огня щипцы.

Томас лишь кивнул в ответ.

– А вас, – брат Себастьян вновь повернулся к Бенедикту, – я попрошу никому не говорить о том, что вы здесь видели. Вы понимаете, юнкер? Никому.

Бенедикт тупо закивал.

Уже на лестнице их нагнал вопль узника, вопль, в котором не было уже ничего человеческого.

Когда Бенедикт возвратился домой, он не сказал ни слова и просидел всё скромное домашнее торжество с пустым, каким-то загнанным выражением лица. Мать и отец были удивлены, пытались всячески расшевелить его и недоумевали, что случилось с сыном. Тем более что он принёс домой заветные флорины и – невероятно! – заказ на новую работу. Старик ван Боотс откупорил по этакому случаю бутылку лучшего вина из собственных запасов, мать приготовила любимого сыном целиком запечённого гуся, но Бенедикта передёргивало от одного запаха жареного. Уступая материным просьбам, он с трудом заставил себя проглотить несколько дымящихся кусков, не чувствуя вкуса, и теперь сидел, почти не слушая ни мать, ни отца, уставившись в одну точку.

Он понял, что никогда не напишет вида Гаммельна с восточного холма.

Никогда.

\* \* \*

Хозяин первого, на вид весьма приличного трактира даже не стал с девчонкой разговаривать, лишь глянул коротко и буркнул: «Нет работы», после чего потерял к ней всякий интерес. Второй трактир был чуть гостеприимнее. Хозяин, толсторожий крепкий бородач, не стал препятствовать и лишь переспросил: «Что? Подработать? Отчего же... Можно... Но учти: две трети от того, что выручишь, отдаёшь мне. Поняла?» Пока девчушка медленно соображала, что к чему, некий господин, одетый для солидности в широкополую шляпищу, бархатную куртку и штаны, походя с усмешкой потрепал её по заду и подарил таким сальным взглядом, что Ялка вспыхнула и поспешила убраться отсюда. И в этот день, и в следующий эти две сцены с некоторыми вариациями повторились ещё несколько раз, а однажды наслоились друг на друга. Трактир оказался оживлённым, хоть время сбора урожая миновало. Ночь выдалась светлая и лёгкая, и Ялка снова провела её у костерка в лесу, на сей раз присмотрев местечко загодя и насобирав полный подол грибов. Грибы наутро удалось всучить каким-то мужикам, которые за это подвезли девчонку на телеге. Так, проведя в дороге и второй день, Ялка не добила ничего и теперь переминалась у очередного постоянного двора, не решаясь войти.

Темнело. Из дверей тянуло запахами еды. Этот, третий постоянный двор, попавшийся сегодня Ялке на пути, носил название «Blauwe Roose», то бишь «Голубая роза». Вывеска соответствовала, вот только нарисована она была так неумело и аляповато, что напоминала не розу, а некое восьминое чудовище на кончике дворянской шпаги. Потом Ялка узнала, что путники так и прозывали его меж собою: «Осьминог на вертеле».

Начал накрапывать дождик. Позади грохотнула телега: «Посторонись!» Ялка отступила, пропуская воз, ещё один, посмотрела им вслед, собралась с духом и вошла.

Просторный зал был сумрачен и тих. Четыре человека ели за столом, два-три потягивали пиво возле стойки. Дымились трубки. Хлопнувшая дверь заставила хозяйку показаться. То была дородная пожилая женщина из тех, которых обычно называют «тётушка» – румяная, опрятная, с улыбкой на лице. Впрочем, оная улыбка сразу исчезла, едва хозяйка разглядела всего-навсего продрогшую девчонку. Ялка представила, как она выглядит – промокшая, в мятном платье, в грязных башмаках; сообразила, что хозяйка до сих пор молчит и смотрит на неё, и торопливо сделала книксен.

– Вечер добрый.

– Здравствуй, здравствуй, – с некоторым неодобрением кивнула та. – Тебе чего?

– Я... – протянул Ялка и умолкла. В горле почему-то пересохло. – Я...

– Ну, смелей, смелей, – подбодрила девушку хозяйка. – Чего изволишь? Пива, мяса, капуста или ещё чего? А может, комнату прикажешь приготовить? Сразу с постелью на двоих?

Тон был таким ехидным, что Ялка снова покраснела. Опустила взгляд.

– Нет, не надо, – сказала она. – Я хотела... Я... Ну, поработать.

– Поработать? – «тётушка» прищурилась. – Что значит «поработать»?

– Ну, просто – поработать. Постирать, посуду вымыть... Мне бы ненадолго, дня на два. Вы не смотрите, я умею. Мне и комнаты не нужно, я как-нибудь тут...

И Ялка сделала неопределённый жест, очерчивая границы этого загадочного «тут».

– Хм... – женщина казалась озадаченной. – Вот как? Поработать, говоришь... Нелегко мне будет подыскать тебе хоть что-нибудь. Есть у меня судомойка, даже не судомойка, а «судомой». И пол мыть тоже девка есть, и в комнатах прибраться, и стирать. Да и на кухне есть помощник, и не один. Так что, сама видишь, некуда мне тебя пристроить.

Ялка лишь кивнула обречённо.

– Что ж... Спасибо. Я, пожалуй... Я тогда пойду.

И двинулась к двери.

– Эй, девонька... Ты это... подожди.

Ялка замерла и обернулась на пороге. Сердце её забилося: неужели... Тем временем хозяйка голубого розы-осьминога напряжённо думала о чём-то, не переставая рассматривать незваную гостью.

– Ты что же это, одна? – спросила она наконец.

– Одна, – причины лгать девушка не видела.

– Куда же ты идёшь так поздно осенью? – невольно изумилась та и опустилась на скамью. – Воистину, странные настали времена.

– Мне только переночевать, – с надеждой попросила Ялка. – Я вам потом камин вычищу, на дворе подмету или что-нибудь ещё сделаю... Разрешите мне остаться. Пожалуйста.

Теперь, когда в окно колотился дождь, а давешние возчики торопливо, с шумом распрягали лошадей, Ялке не хотелось уходить. До слёз не хотелось.

– Звать-то хоть тебя как?

– Ялка.

– Не знаю, прям-таки не знаю, – покачала головой хозяйка. – И взять с тебя нечего, и гнать тебя совестно. Ты, вроде, не гулящая, одета прилично и на воровку не похожа... Деревенская, поди? Что же мне с тобой делать? О, знаешь, что! – внезапно оживилась она. – Шаль у тебя

хорошая. Давай сделаем так: всё равно народу мало, я комнату тебе дам, чтоб заночевать, и накормлю тебя, а ты мне как бы шаль продашь. Всё ж таки зима идёт, я всё равно хотела ехать покупать. А ты и в колушке своим не очень-то замёрзнешь – колушок-то, я гляжу, у тебя новёхонький, тёплый колушок.

– Шаль? – переспросила Ялка, силясь сообразить и вспомнить что-то важное, что непременно помогло бы ей, но почему-то не хотело вспоминаться. В корчме было тепло, и усталость брала своё. Веки девушки слипались. – Шаль... – повторила она.

– Ну да, – кивнула хозяйка, истолковав её колебания по-своему. – Ещё патаров штуки три добавлю сверху... Ну хорошо, полуфлорин. Будет чем за ночлег платить в следующие разы. Ты далеко идёшь-то? А?

Внезапно Ялка вспомнила: конечно! – шерсть в её мешке, большие серые клубки.

– Послушайте, – вскинулась она, на всякий случай всё-таки развязывая шаль, – зачем вам эта, ношенная? Хотите, я вам другую свяжу? У меня и пряжа с собой – вот, в мешке...

– Ты? – «тётушка» невольно подалась вперёд, будто принимаясь. – Ты сама её связала? – Она протянула руку, пощупала мягкое пушистое полотнище. – А не врёшь?

– Не вру, – Ялка почти счастливо улыбнулась. – Мне нужен день или чуть больше.

– Ну, не знаю, – заколебалась та. – Если так, то что ж... Давай.

Тут Ялка совсем расхрабрилась и решила рискнуть.

– Только... можно я сперва посплю? Я... я весь день шла. Вы не беспокойтесь, я рано просыпаюсь. Какой вам хочется узор?

Ответить хозяйка не успела: в корчму ввалилась дюжина гуртовщиков, которые с порога потребовали пива и еды, и хозяйка умчалась на кухню. Вместо неё явилась девка из прислуги, проводила Ялку в тесную комнатёнку наверху, оставила ей свечку и ушла. По-видимому, это означало, что хозяйка согласилась на её условия. Комната была холодная, но в ней была постель, пусть жёсткая, зато с одеялом, подушкой и простынями. Ялка сунула котомку под кровать, задвинула засов, разделась и развесила одежду для просушки на столе и подоконнике, как мышка юркнула в постель и тотчас провалилась в сон под мерный шум осеннего дождя.

Проснулась она до рассвета. Вспомнила вчерашний разговор, достала нитки, спицы и принялась за вязание. Через часок пришла хозяйка – разбудить и позвать завтракать, была приятно удивлена тем, что шаль уже в работе, и сразу прониклась к девушке доверием. Её, как выяснилось, звали Вильгельмина. Всерьёз её, конечно, так никто не звал, предпочитали – «Тётушка Минни». Муж её лет пять как умер («Конь зашиб», – простодушно пояснила та), и постоянный двор она содержала в одиночку. Завсегдатаи промеж себя любовно звали её Мамочкой: «Где будем ночевать?» – «Как где? У Мамочки...» Так Ялка узнала ещё одно имя трактира, уже никак не связанное с пресловутой вывеской.

На следующий день, под вечер, шаль была готова. Утром Ялка отдала её хозяйке, получила оговоренную плату, в меру сил отчистила испачканное платье и засобиравшись в дальнейший путь.

Вильгельмина молча, сложив руки на коленях, наблюдала за её сборами.

– Знаешь что, – сказала она, – а оставайся у меня. Хотя б до снега: всё ж таки не в грязь идти. Ты вяжешь и ещё прядёшь, поди. В хозяйстве б помогла, подзаработала маленько. А я б тебе и шерсти раздобыла, а потом с каким-нибудь обозом помогла уехать.

– Спасибо, нет. Мне надо... Я должна идти.

Хозяйка покачала головой. Вдохнула.

– Видано ли дело, чтобы мышка, сидя в сыре, думала уйти? Охота тебе в пыль и в грязь, под дождь, к пиявкам. Что за надобность?

Мгновение Ялка колебалась, потом решительно потрянула волосами.

– Скажите, вы не видали одного парня? Он такой рыжий, худой, лет тридцати. С синими глазами. У него ещё шрамы вот тут и тут, – она показала на висок и локоть. – Он ходит и лечит людей.

– Нет, не видала, – с некоторым неудовольствием, как показалось Ялке, отвечала та. – А кто он тебе, брат? сват? Иль хахаль твой?

– Нет, просто... просто знахарь. – Ялка замялась и закончила нелепо: – Мне он нужен.

– Так ведь это же Лис! – ахнула девчонка из прислуги, та, что провожала Ялку в комнату. – Ну помните же, тётя Минни, он ещё к молочнику Самсону приходил, когда у него сын в колодце задохнулся! Он его тогда целовал-целовал, мальчишку-то, да всё в губы, в губы, прости Господи... Руки-ноги ему двигал... Ну помните же!

– А! – встрепенулась та и мелко закрестилась. – Верно, верно, девонька. Пресвятая дева и Христос спаситель! Верно, это он, который мёртвого мальчишку поднял. А зачем он тебе? Тоже целоваться? Или ты сама больная?

– Самсон... – пробормотала Ялка. Подняла взгляд. – Мне бы с ним поговорить, с этим Самсоном. Это можно?

– Отчего нет? Он мне по вторникам и четвергам привозит молоко, а завтра как раз и есть четверг. Так что остаться тебе так и так придётся. – Она встала. – Ужинать будешь?

– Что? А, да... Если можно.

– Тогда с тебя патар, – тётушка Минни с хитрецей прищурилась. – Или, может, поможешь вместо платы мне посуду вымыть?

Ялка с трудом удержалась, чтобы не броситься ей на шею и расцеловать.

Молочник не обманул ожиданий и явился с утра пораньше. Но тоже ничего о травнике не знал. Тот возник словно ниоткуда, никто его не звал. Да что говорить, в тот раз даже послать за лекарем не удосужились – и так было видать, что парнишке карачун. Известно дело – «Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, deckt man in zu»<sup>8</sup>. Да и была там крышка, сам дурак. И то сказать: упала курица в колодец, он и полез за ней, как маленький ребёнок. Ну и потонул. Жена, конечно, в рёв, а тут этот: «Пропустите, – говорит, – я помогу». Назвался Лисом. Нет, денег не взял. Что? Где живёт? Кто его знает, где живёт! Когда случилось? Да уж тому с полгода, как случилось. А что?

От визита молочника Ялке выпала ещё кое-какая польза – Самсон задаром согласился подвезти девчонку до другого постоянного двора, насколько хватит дня пути. Когда она устраивалась в тесной, запряжённой осликом повозке меж пустых бидонов, тётка Вильгельмина вышла проводить и сунула ей в руки узелок.

– Я тут собрала тебе в дорогу кой-чего: кусок свиной печёнки, колбаса, краюшка хлеба, пара луковиц. И значит так. Если будешь в Брюсселе, зайди на Фландрскую улицу, спроси дом Яна Сапермиллименте.

– Кого?! – невольно вырвалось у Ялки.

– Сапермиллименте, – терпеливо повторила та. – Имя-то запомни, девонька, запомни, оно одно такое. Жена его вроде как моя свояченица. У них дочь чуток старше тебя, передашь им от меня привет, хоть будет где остановиться на пару дней. А на будущее дам тебе совет: всем говори, что ты идёшь на богомолье в аббатство Эйкен, поклониться святому Иосифу. Соврать в таком деле – грех невелик, а при случае и впрямь зайдёшь, поклонись, пожертвуешь монетку. Тебе ведь всё равно куда идти, ведь так? Эх ты, кукушка перелётная. Ну, бог тебя храни. Ступай, ищи своего Лисьего короля.

Ялка вздрогнула от неожиданности, потом спохватилась, от души поблагодарила и долго махала ей рукой, пока «Голубая роза» не скрылась за поворотом.

---

<sup>8</sup> «Пока ребёнок не упадёт в колодец, крышкой [колодец] не накроют» (нем.).

Всю дорогу Самсон молчал, попыхивая трубочкой. Вытянуть из него ещё что-нибудь о рыжем травнике Ялке больше не удалось. Они двигались неторопливо, останавливались у одной харчевни, у другой, меняя полные бидоны на пустые, пока, наконец, не стемнело и молочник не отправился домой. Ещё ожидая его в «Голубой розе», Ялка не теряла времени, да и в пути не спала, благо, день выдался тёплым, и теперь знала, что делать. Когда последний постоянный двор распахнул свои двери, девушка уверенно прошла к жене хозяина, улыбнулась и раскрыла мешок:

– Не купите ли вы у меня шаль?

\* \* \*

Проснулся Фридрих оттого, что кто-то ненавязчиво пихал его ногой. Несильно, как-то даже по-дружески, мол, рассвело уже, вставай.

Фриц сел и принялся тереть глаза. Зевнул и огляделся.

И в самом деле рассвело. Тот, кто его толкал, присел и заглянул ему в лицо. Это оказался плотный круглолицый парень, с крутым упрямым лбом и пухлыми губами, по которым вечно ползала какая-то двусмысленная улыбка. Усишки, чуть горбатый нос, а на нём – к зиме бледнеющая россыпь веснушек. Рыжие волосы мелко курчавились. По отдельности черты его лица не вызвали отторжения, были правильными, даже симпатичными, но вместе вызвали безотчётную неприязнь. Было в его лице что-то нехорошее, хитрое, даже плутоватое. Тёмные глаза всё время зыркали по сторонам; прямого взгляда парень избегал.

– Ты чего разлёгся? – с усмешкой спросил он. – Жить надоело?

И голос, и усмешка Фрицу также не понравились. Он сел, потирая бока, и оторопело вытаращился на пришельца. Всё тело у него затекло, а правый бок, похоже, основательно подмёрз. Не спасли ни ветки, собранные для подстилки, ни одеяло, взятое с чердака.

– У меня нет ничего, – угрюмо буркнул он, надеясь, что парень пойдёт своей дорогой и не станет обшаривать его карманы. Карманы, впрочем, у мальчишки были пусты, и только завернутый в холстину нож за пазухой холодной тяжестью оттягивал рубаху.

– Вот дурной, – с досадой отмахнулся тот и сморщился. – Ты чё, не понимаешь, да? Свихнулся, что ли: на земле валяешься? Ещё раз заночуешь без костра, на голой жопе – к утру коней бросишь. Поял?

– Что?

– Замёрзнешь, дурошлёр, – разъяснил доступно рыжий. Скривился, передразнивая парня: – «Что»... Тебе повезло, что ночь была тёплая. Городской ты, что ли? Ты откуда?

– Из Гаммель... – начал было тот и прикусил язык, но было поздно – слово уже выскочило. Впрочем, странный парень не обратил на это внимания.

– Из Гаммельна? Ага, – чёрные глазки быстро смили его от пяток до макушки. – Гм... И куда ж ты прёшь так, налегке, на зиму глядя? На деревню к бабушке? Ещё небось с горшочком маслица и с пирожком?

Фриц набычился.

– Никуда я не иду. Чего пристал? Иди давай своей дорогой. А замёрзну, так не твоё дело. Парень задумался.

Ему было лет двадцать или около того. Был он невысок, носил суконные штаны и безрукавку из овчины. Рубахи под безрукавкой не было, отчего его голые руки выглядели донельзя нелепо. На удивление добротные, смазанные дёгтем башмаки были заляпаны дорожной грязью. Фриц присмотрелся к нему. Как там описывал Гюнтер? Рыжий, странно выглядит, ходит один, обычно с мешком...

Что у него в мешке?

Сердце его забилося сильнее.

– Слушай, – осторожно начал он, не решаясь до конца поверить в свою удачу. – А ты... Ты, случаем, не Лис?

– Что? – встрепенулся тот и посмотрел на Фридриха с недоумением. – Лис? Какой лис? Я не лис. Конечно, если хочешь, можешь звать меня лисом, но я, вообще-то, Шнырь. Иоахим Шнырь. – Он объявил об этом так, будто это имя гремело от Мааса до Рейна, и строго посмотрел на мальчика. – Слышал, наверное?

– Нет.

– Вот и хорошо, что не слышал. А тебя как звать?

– Фриц. То есть Фридрих.

– Хватит с тебя и Фрица, – ехидно ответил тот. – Фридрих, ха! Ещё чего. Ростом ты для Фридриха не вышел. Пойдешь со мной?

– Куда? – опешил Фриц.

– А просто. Никуда. Со мной – и всё. Мне скучно одному. Так что, пойдешь?

Фриц подумал.

С тех пор, как трубочист помог ему выбраться из города, прошло четыре дня. Дорога начиналась сразу от пустыря, где Гюнтер вытряхал мешки, и Фриц отправился в путь немедленно. Правда, куда идти, было непонятно, но Фриц надеялся на удачу и чутьё. Теперь, четыре дня спустя, он несколько пересмотрел своё решение. Фриц ночевал в лесу, не разводя костра, вчера доел последний кусок хлеба и уже всерьёз подумывал вернуться в Гаммельн. Внезапный попутчик появился весьма вовремя. Взять с Фрица было нечего, кроме старого одеяла и стилета, но Вервольфа он отдавать не собирался, не собирался даже говорить о нём. Обшаривать его парнишка не спешил, поверив на слово, а идти вдвоём, с какой стороны ни взгляни, и веселее, и безопаснее. Остальное было не важно.

Пока не важно.

Фриц подумал, подумал ещё и решился.

– Пойду, – сказал он.

С погодой им везло – тепло и солнышко держались целый день, и только вечером нагнало туч. Вдвоём и вправду оказалось веселей. Иоахим говорил без умолку, рассказывал истории, какие-то смешные и не очень случаи, и вообще оказался изрядным болтуном. Он говорил о воле, пьянках, кабаках, своих приятелях сомнительного свойства и гулящих девках, которых он, по собственным словам, «имел без всякого числа». Единственное, что Фридриха по-настоящему смущало – каждый второй рассказ Шныря оканчивался тем, что он кого-нибудь «обчистил» и кому-то «дал по морде». Шнырь был показушно весел, нагл и даже на взгляд неискusшённого Фридриха отчаянно «вертел колесо».

Сказать иначе – врал.

– Шнырь, – не выдержав, спросил его Фриц, – а Шнырь. А ты вообще кто?

– Я-то? А никто, – отвечал тот бесшабашно. – Хожу, брожу, на свет гляжу, на что набредаю – себе забираю, что плохо лежит – меня сторожит. Держись, брат, меня, со мной не пропадёшь.

Иоахим был вором. Обыкновенным бродячим вором со своей доморощенной философией, что если кому-то в этом мире плохо, почему другим должно быть хорошо? А значит, нечего горбатиться на дядю! Стукнуть богатея камнем по башке, отнять кошель – вот это жизнь!

– Украсть вещь – всё одно что найти, – толковывал он Фрицу. – Просто эту вещь ещё не потеряли. Я праильно говорю? Праильно, да? Вот то-то.

Он был неприятен Фридриху. Однако вскоре он оценил его как странника – Шнырь был привычен к долгому пути. Он смыслил, как обустроить ночлег, умел сыскать пастушеский шалаш или что-нибудь подобное, знал, как найти и приготовить нехитрую лесную снедь. В его рюкзаке оказались хлеб и сыр, побитый закопчённый котелок, кремь с огнивом, нож и



всяческая мелочь, нужная в дороге. На первом же привале новоиспечённые приятели набрали грибов, развели костёр, заварили чай. Фриц согрелся, разомлел и даже чуточку вздремнул – от холода он всю ночь спал урывками.

– Ничего, – ободрял его Шнырь, потирая ладони, – подыщем тебе одежонку. В соседних деревнях ещё много дураков, которые не запирают на ночь дверей, а днём так и вовсе никто не запирает.

Так оно и вышло. В первой попавшейся деревне Шнырь отвлёк собаку и стащил овчинный полушубок, который вывесили проветрить на плетень в преддверии зимы. Полушубок оказался чересчур велик для мальчишки, Шнырь напялил его сам, а Фридриху великодушно отдал безрукавку. После этого оба долго драпали от разъярённого крестьянина, покуда не укрылись в перелеске. Хозяин полушубка долго ползал по кустам, ругался, выкликал обоих, гневно потрясая дрыном из плетня, потом плюнул и ушёл домой. Фриц был подавлен, но понимал, что ничего сделать бы не смог: ночью подморозило, и, когда бы не костёр и не подаренный козух, он замёрз бы насмерть, как и предсказывал Шнырь. Иоахим всячески подбадривал его и зубоскалил, а потом достал из своего мешка початую бутылку шнапса и сказал, что надо отметить первое «совместное» дельце. Уступая уговорам, Фридрих через силу выцедил из горлышка, проглотил колючую дурную жидкость и осовел. По жилам разлилось тепло, в голове зашумело – он никогда ещё не пил спиртного. Шнырь скалил зубы, гоготал, хлопал мальчишку по спине и шумно чесался – в трофейном полушубке в изобилии водились блохи.

– Мы, брат, теперича повязаны с тобой, – говорил он, багровея рожей от спиртного и открытого огня. – Держись меня, паря, со мною, брат, не пропадёшь. Я тебе покажу, что такое настоящая жизнь. Со мной, брат, человеком станешь. Я праильно говорю? Праильно, да?

Фриц его почти не слушал. Вскоре его вырвало, после чего он почувствовал облегчение и сразу уснул.

Утром они двинулись в дальнейший путь. Шнырь балаболил пуще прежнего, однако Фриц заметил, что его рассказы стали повторяться. К полудню на дороге замаячила корчма. От запаха еды у Фрица закружилась голова, а Шнырь после вчерашнего мучился похмельем. Иоахим не выдержал первым.

– Пива хоцца, мочи нет, – сказал он, останавливаясь и потирая живот. – У тебя, паря, ненароком денег нету при себе? Хоть сколько-то, хоть пары гульденов. А? Нету?

– Поесть бы лучше, – заявил на это Фридрих, разглядывая грубо намалёванную вывеску, в которой с некоторым трудом можно было опознать моток прядёной шерсти. – А денег нет, сам знаешь.

– Эх, ладно. Обойдёмся.

Фриц понял его слова так, что придётся обойтись без пива, и уже собрался идти дальше, однако Шнырь свернул с дороги и решительно направился в «Моток». Корчма была не самого высокого пошиба – одноэтажная, с малюсенькими окнами и полуобвалившейся трубой, но выбирать не приходилось. Шнырь неспешно обошёл вокруг, с особым тщанием разглядывая забор, звонко хлопнул себя по коленкам, захихикал и помахал рукою, чтоб мальчишка подошёл ближе.

– Фриц, смотри!

На потемневшей от дождей штакетине забора, возле самой калитки, было нацарапано что-то непонятное, какой-то простенький рисунок – два квадратика, не совпадающие друг с другом. Верхний край у одного из них был вырезан зубцами, как забор. Всё выглядело так:



– Знаешь, что это? – спросил Шнырь.

– Нет.

– Эх ты, простачок городской. Это ж знак такой у нищих и бродяг. Он означает, что хозяин тута трусоват, а может, и вовсе дурак. «Квадрат» за забором. Такой и денег даст, просто чтоб от нищего отделаться.

– И что?

– А ничего, я вижу, ты не понимаешь. Знач'так, – Шнырь остановился у входа и повернулся к Фридриху. – Не дёргайся и не дури, лучше смотри, что буду делать и учись.

В просторном помещении «Мотка» было накурено и душно. Шнырь, залихватски сдвинув шляпу на затылок, кренделем проследовал к столу возле двери, швырнул на лавку мешок, уселся и постучал костяшками пальцев по столешнице.

– Эй, паренёк! – окликнул он. – Позови-ка мне трактирщика.

Заспанный «паренёк», слуга лет тридцати со скучным и туповатым выражением лица, отделился от стойки и не спеша к ним приблизился.

– Их нет, – сообщил он, зевая. – Я могу подать. Чего прикажете?

– Нет, говоришь? Хм... – Шнырь задумался. – А принеси-ка ты нам, друг, бутылочку вина.

– Какого?

– Красненького.

– Вина. – На лице прислужника отразилась работа мысли. – Ага. Стал'быть, вина – и всё? И больше ничего? Закусывать не будете?

– Пока не надо, – барским жестом отказался Шнырь. – Может, потом чего надумаем.

Слуга кивнул, ушёл и вскоре возвратился с кружками и тёмной, пузатой, неопрятного вида бутылкой. Поставил всё на стол и уже собрался идти, но тут Иоахим удержал его и сделал вид, что задумался.

– А знаешь что, любезный, – наконец сказал он. – Что-то мне не хоцца вина. Возьми-ка ты его да принеси взамен нам пива, пару кружечек. Одну побольше и одну поменьше.

Слуга равнодушно пожал плечами, бутылку унёс, а через пару минут вернулся с заказанным пивом. Шнырь взял кружку побольше, подмигнул зачем-то Фридриху и преспокойно начал пить, по виду никуда не торопясь. Фриц никак не мог взять в толк, чего тот добивается, однако тоже отхлебнул глоток. Пиво было горьким и холодным, от него сразу заныли зубы; Фриц едва одолел половину и отставил кружку. Иоахим, убедившись, что мальчишка больше пить не хочет, прикончил его порцию, встал и преспокойно направился к выходу. Фриц почёл за лучшее последовать за ним.

Трактирный слуга на мгновение остоленел, затем вскочил и у дверей нагнал обоих. В корчме все замерли, предвкушая зрелище.

– Эй, эй, – вскричал слуга, хватая Иоахима за рукав. – А деньги?

Шнырь покосился на него через плечо и с неприкрытым удивлением спросил:

– Какие деньги?

Парень напрягся.

– Деньги, господин хороший, – пояснил он и огляделся, призывая в свидетели посетителей. – За пиво, которое вы выпили. Вы и энтот ваш мальчишка.

– Пиво? – вполне натурально удивился Иоахим. – Так я же тебе за него вино отдал! Парень замер и оторопело заморгал.

– Ну тогда... тогда платите за вино! – нашёлся наконец он.

– Так вина же я не пил, – доходчиво объяснил ему Шнырь. – За что же мне платить?

И покуда парень из трактира мыслил, где подвох, Шнырь вышел вон и был таков.

Фриц поспешил последовать его примеру.

В ближайшей деревне они подманили и спёрли гусака, а ночью развели костёр на старой лесопилке и зажарили его на вертеле. Гусь был огромный, откормленный, приятели кусками рвали жирное дымящееся мясо и гоготали, вспоминая физиономию трактирного слуги. Смех распирал обоих, хмель ударил в голову, и даже, кажется, луна и та им подхохатывала с неба.

– Вина-то... – стонал от смеха Фриц, – вина-то, значит, говоришь ему, не пил! А это-то, это... О-ох, Шнырь, ну ты и хохмач! Ну, ты даёшь!

– А то! – ухмылялся тот, потрясая гусиной ногой. Руки его были перепачканы жиром едва ли не до локтей, он всё время вытирал о волосы то одну ладонь, то другую. – Учись, брат, пока я жив. Со мной не пропадёшь! Передай мне бутылку...

– Смотри, – чуть позже объяснял он, рисуя палочкой на земле. – Вот такая решётка, ну, которая как бы с головой, означает, что на этой улице хорошо подают. Такой квадратик с точкой и волной – что здесь поганая вода. А эта штука, – кончик прутика в его руках изобразил нечто, похожее на широко распахнутые челюсти, – означает, что здесь злая собака. Ты запоминай, запоминай, в дороге пригодится.

Фридрих моргал и кивал полусонно – от выпитой водки его клонило в сон.

Язык картинок, принятый у нищих, оказался хоть разнообразным, но простым. Мелом, гвоздиком, углём, на стенах ли, на столбиках ворот, а то и просто на заборах – всюду они рисовали особые знаки, похожие на безобидные и ничего не значащие детские каракули. Рисовали как предупреждения и рекомендации своим собратьям, «лыцарям дорог», как не без гордости назвал их Иоахим. Кошка означала, что в доме добросердечная женщина. Два молотка – что за работу здесь платят деньгами. Нарисованный дом с перечёркнутой дверью хорошо охранялся. Батон извещал странника, что в трактире хорошая еда. Крест ставили на доме религиозного, мягкосердечного человека. Петуха – там, где при виде бродяги поднимут тревогу, а шеврон «V» – там, где о тебе позаботятся, если ты болен.

– А эта... этот чего значит? – спросил Фриц, указывая на странный значок – большой треугольник, из которого торчали вверх две руки с растопыренными пальцами, таким вот образом:



– О, – Иоахим важно поднял палец. – Это, брат, знак самый, значит, важный. Он означает, что здешний хозяин сразу хватается за оружие, если что не по нему. Увидишь где такой, беги оттудова.

Спал Фридрих плохо. Вчерашнюю бутылку опростали окончательно, вдобавок от жирной еды образовалась тяжесть в животе. Всю ночь Фриц ворочался, а утром встал не отдохнувшим и угрюмо поплёлся за Иоахимом, который тоже малость приутих. То, что вчера казалось Фрицу невинной шуткой и весельем, в свете утра предстало совершенно другим, чем-то мелочным и подлым. Посыпал редкий дождь. Похолодало. Всю дорогу развезло. Шнырь

мучился с большого бодуна, был раздражителен и даже зол, остановиться на привал не захотел и продолжал идти, оглядывая окрестности и провожая жадным взглядом в большинстве своём пустые встречные телеги. Предчувствие беды усилилось, когда на перепутье миновали раскидистый дуб с двумя висельниками, для сохранности обмазанными смолой, и вышли к постоялому двору. Вывески на нём не было, зато и выглядел он необычно – будто три дома стояли рядом, стена к стене: большой, поменьше и маленький третий. Издалека всё походило на лесенку. Трактирчик, как узнал Фриц позже, так и звался – «Три ступеньки»<sup>9</sup>.

– Шнырь, – Фриц осторожно подёргал Иоахима за рукав, – а Шнырь. Может, не надо?

– Ну уж нет, – угрюмо отозвался тот, оглядывая длинный ряд возов. – Если я сейчас не выпью, я не знаю, что я сделаю.

Постоялый двор, похоже, пользовался успехом в непогоду: всё подворье перегородили разные возы, телеги, пеший «ход» с сосновыми хлыстами и даже господский тарантас. Тарантас особенно заинтересовал Шныря. Мальчишка-конюший бросил на пришедших косой взгляд, однако ничего не сказал и молча продолжал орудовать скребницей: мало ли кого приносит сюда по осени с ветром и дождями. Из окон раздавался шум гулянки. Фриц чувствовал недоброе, но понимал, что смысла нет протестовать: погода портилась. Дождь усилился, кружили тучи. Дым увлакивало ветром то на север, то на юг, а то куда-то между.

– В самый раз, – одобрительно крикнул Шнырь, снимая шляпу и водя рукой по рыжим сальным завитушкам. – У них, похоже, на всю ночь загул, авось и нам чего обломится. Знач'так. Заходим, чего-нибудь закажем выпить и пожрать, а там видно будет. Поял? Пошли.

Фриц на миг заколебался, возражать, однако, не посмел и молча двинулся следом.

Народу в корчме было – не продохнуть. Компания гуртовщиков накачивалась шумно, весело, дымила дымом, бражничала брагой и гуляла гулом и гульбой. Стол перед ними ломился от закуски с выпивкой. Пиликала скрипка. Две-три тощие девахи, промышлявшие собою при корчме, визгливо хохотали, сидя у парней на коленях. Фриц окинул взглядом помещение. Две другие компании – одна у очага, другая возле входа в кухню – вели себя тише, а высокий, хорошо одетый и благообразный господин за столиком в углу сидел один и ел копчёного угря.

Шнырь подозвал трактирщика, заказал водки, мозгов и гороху с салом, а на сладкое – лепёшек. Сам он к еде почти не притронулся, лишь хлопал водку стакан за стаканом и мрачно зыркал по сторонам. Выглядел он при этом несколько не страшно, даже отчасти смешно, Фриц малость успокоился и только по-прежнему не мог понять, как тот собирался выпутаться. Хозяин постоялого двора выглядел далеко не глупцом, при нём, вдобавок, был помощник (морда – во, отметил Фридрих про себя: аршин в плечах и кулаки размером с кружки). Или у Шныря водились деньги? Фридрих искоса взглянул на Иоахима и снова убедился – денег не было. Мелькнула мысль отдать кинжал, но он тотчас прогнал её – Шнырь о нём не знал, и отдавать Вервольфа Фрицу не хотелось.

Шнырь дожевал мозги, облизал замасленные пальцы, пронаблюдал, как высокий господин встал и вышел, после чего поднялся и последовал за ним на двор. Хозяин глянул ему вслед и отвернулся, видя, что мешок его остался возле мальчика на лавке. Фриц почувствовал себя неуютно и, поёрзав для приличия, тоже двинулся к двери.

– Эй, малый, – тут трактирщик был уже настороже. – А ты куда?

– До ветру.

– А платить?

– Да я... – Фриц на мгновение замешкался, потом нашёлся: – Я вернусь сейчас. А брат вернётся и заплатит, вон его мешок лежит.

Трактирщик с некоторым сомнением окинул взглядом блюдо с недоеденным горохом, недопитую бутылку и мешок, кивнул и отвернулся. Фриц на подкашивающихся ногах бук-

---

<sup>9</sup> Игра слов: на воровском жаргоне «Три ступеньки» означают виселицу.

вально вывалился на улицу, под ветер и холодный дождь, перевёл дыхание и торопливо огляделся.

– Шнырь! – позвал он. – Иоахим!

Чья-то ладонь зажала ему рот.

– Заткнись, придурок, – прошипели ему в ухо. – Здесь я. Молчи.

Шнырь убрал ладонь, и Фридрих обернулся. Иоахим весь промок, шляпа его набухла и обвисла, словно у поганки, с неё потоками лила вода. В руках у Иоахима был нож.

– Молодец, что выбрался, – осклабился он. – Хозяин ничего не подумал?

– Мы что, – непонимающе спросил Фриц, – обратно не вернёмся? А мешок?

– Вернёмся, – ухмыльнулся тот. – Ещё как вернёмся. Видишь вон ту будку? Вот сейчас тот мужик пройдётся до сортира, мы его немножечко пощупаем и враз вернёмся.

– Шнырь, – пролепетал Фриц, холодея, – Шнырь, не надо. Я не хочу. Прошу, не надо...

– Чего «не надо»? Э, да ты чего дрожишь-то? Ты не трись. Ха! Думаешь, я его зарежу? Дудки. Припугну, он сам денюгу отдаст. Думаешь, впервой мне, что ли?

– Я...

– Чш-ш... Тихо: он идёт.

Фриц пригляделся. Идущим был тот самый хорошо одетый мужчина средних лет, сидевший в трактире в одиночестве.

– Здорово, борода, – Шнырь выступил из темноты.

– Что-то не припомню, – на ходу ответил тот, застёгивая штаны и при том не замедляя шага. Тон его был вежлив и спокоен, в первое мгновение Фрицу показалось, что он даже головы не повернёт в их сторону.

Повернул.

– Пивка мне не поставишь?

– Я в компании не нуждаюсь.

– Так ведь и я не нуждаюсь, – глумливо хмыкнул Шнырь. – Раз так, может, тогда денюжат подкинешь нам, ага?

– Чего бы ради?

– Надо значит, ежели говорю, – угрюмо заявил на это Шнырь.

– Да? Хм. И сколько же вам дать? Патар? Полталера? А может быть, флорин?

– А всё, чё есть, всё и давай. Целее будешь.

– Иоахим... – пискнул Фриц.

– Цыц! – рявкнул тот. – Засохни! Знач'так. – Он угрожающе придвинулся к незнакомцу. – Деньги на бочку, слышь, ты, дурик толстопузый. Иначе силой отыму. Ты поял, да?

От Иоахима разлило укусом и перегаром, он шатался и, наверное, едва соображал, что делает. Даже дождь его не отрезвил. Благообразный господин остановился и смерил Иоахима взглядом.

– Ты что же, грабишь меня, что ли? – поинтересовался он.

– А то ж!

Назревала гроза. Шныря и трезвого-то трудно было принимать всерьёз, сейчас же, пьяный, маленький и наглый, он был попросту смешон – стоял и молча ждал, пошатываясь на ветру. Благообразный господин вздохнул, пожал плечами и вдруг что было мочи засветил Шнырю по роже. Брызнула кровь, Иоахим клацнул челюстями и рухнул, как стоял. Шляпа с него слетела. Фридрих подскочил от неожиданности и резво отшагнул назад.

Иного трезвого сложением и покрепче Иоахима такой удар отправил бы в беспамятство, но пьяный, как известно, думает не головой. Шнырь подскочил, взревел и бросился в атаку, спотыкаясь и оскальзываясь. На мгновение Фриц сумел повиснуть у него на рукаве, но Иоахим отшвырнул мальчишку, вцепился господину в воротник кафтана, увернулся от удара и сва-

лился, увлекая незнакомца за собой. Два тела замесили грязь, и Фридрих с ужасом увидел, как в темноте сверкнуло лезвие ножа.

– Иоахим, нет!

Сверкнуло снова. Опустилось. Крик сотряс ночную тишину, и если раньше шум гулянки заглушал возню на улице, сейчас в трактире ошарашенно притихли. Иоахим прынул от лежащего, попятился на четвереньках. Привстал и очумело посмотрел на нож в своей руке, с которого стекали капли крови. Вздрыгнул, передёрнулся, вскочил и бросился бежать.

Дверь заскрипела, на подворье повалил народ. Раненый лежал в грязи и сучил ногами, будто хотел отползти. Фриц стоял и смотрел, не в силах шевельнуться, чувствуя, как дождь колотит по макушке и стекает по лицу. В память врезалась картина грязного двора, распластанное тело, мокрые сараи почерневших досок и косая пелена летящего дождя. Гул голосов не умолкал, но слышался как бы издалека, во всяком случае, Фриц не разбирал слова – уши словно заложило. Его схватили, развернули, затрясли. Затем, как будто что-то лопнуло, извне пробились звуки, крики, стоны, шум дождя. «Это ты? – кричали Фридриху в лицо. – Ты, гадёныш, его порешил?!» Схватили за ворот, тряханули, отхлестали по щекам. Фриц не сопротивлялся, только тряс головой. Рубашка его вылезла из штанов, мизерикорд продрал холстину, выпал из-за пазухи, два раза кувыркнулся и шлёпнулся в грязь. Чьи-то руки торопливо хапнули его, и на мгновение воцарилась тишина.

– Эва! – наконец раздался изумлённый голос. – Глянь, чего!.. Это же этот... лыцарский протык!

– Ага ты, точно, протыкач! Эй, там! Держи крепче сопляка, чтоб не убёг! Да обыщи его как следует, авось ишшо чего найдётся.

– Это не я, – внезапно онемевшими губами пролепетал мальчишка. – Я не виноват...

Никто его не слушал и не слышал. «Вяжи гадёныша!» – распорядился кто-то, и мальчишку вслед за раненым поволокли в корчму. Дверь за ним закрылась, и только кровь в истоптанной грязи ещё некоторое время напоминала о том, что здесь произошло.

Потом её смыл дождь.

\* \* \*

За окном трактира сыпал дождь. Земля во дворе раскисла. В лужах, расходящихся кругами, отражалось небо без единого просвета. Две лошади и ослик на конюшне с равнодушием мотали мордами и что-то подбирали из пустой кормушки. С некогда белёного забора потихоньку обмывало известь. Всё это представляло собой картину серую, однообразную, но не лишённую очарования, особенно если учесть, что в комнате было тепло и сухо. Жарким пламенем горел камин, дрова потрескивали, запах дыма щекотал в ноздрях. Парнишка, облачённый в чёрную зановенную рясу монаха-доминиканца, со вздохом оторвался от созерцания пейзажа за окном, прошёл к столу, уселся за него и потянул к себе кожаный цилиндр с письменными принадлежностями. Откинул крышку, вытащил свёрнутые трубкой желтоватые листы пергамента и тряпочной бумаги, вынул нож и аккуратно принялся затачивать перо. Взгляд его упал на угол карандашного рисунка, на котором Бенедикт ван Боотс из Гаммельна изобразил Лиса. Он помедлил, отложил перо и нож, вытащил листок и расправил его перед собою на столе. Взгляд его сделался рассеян.

Кто он был такой, этот травщик?

Томас отыскал среди прочих лист, содержащий доступные сведения о разыскиваемом, достал его и углубился в чтение.

*«Žuga, [Zhuga] – индифферентно излагала бумага. – (Возможны варианты – на латинский адекватным образом не транскрибируется). Известен также среди простонародья как*

«Осенний Лис», «Соломенный Лис», «Ведьмак из Лиссбурга» и просто «Лис» (список прочих прозвищ прилагается). Горец, влах (предп. урож. Мунтениш<sup>10</sup>). Настоящее имя – Вацлав (Ваха, Вашек), однако никогда им не пользуется. Точный возраст неизвестен (выглядит на тридцать с небольшим). Роста выше среднего, худощав, лицо треугольное, глазами син, волосами рыж, предпочитает отпускать их длинными.

Первейшие упоминания девятилетней давности (ворота Дибю, Тихутский перевал, предгорья возле Тырговиште, креп. Поэнари, креп. Эшере, позднее – север Трансильвании, Марген, Шесбург, Кронштадт, Германиштадт и вся область Siebenburgen, впоследствии – сев. Фландрия). При обстоятельствах самых различных. По собственным рассказам – оставил жизнь в горах в угоду странствиям, по свидетельствам других – изгнан из рода по подозрению в колдовстве. По свидетельствам третьих – был подвергнут соплеменниками казни чрез убийство, но выжил. Сказывается знахарем. Образования не имеет (звание целителя *de plagio*<sup>11</sup>). На родине замечен был участием в антибоярских смутах. Неоднократно подозревался и неоднократно же был уличён в колдовстве и некротических действиях, в хождении по горячим углям босым, в вызывании духов, в ликантропии (н/пр.), в составлении бесовских снадобий и эль-иксиров, а также в антицерковных высказываниях (подтверждено свидетельствами многосчётных очевидцев). Около семи лет тому назад совершил большое длительное плавание на Запад, в Англию и на Исландию (цель неизвестна). Некоторое время практиковал в Лиссбурге и Цурбаагене, потом исчез в неизвестном направлении (по одним непроверенным данным – удалился в отшельничество, по другим – до сих пор промышляет бродячим целителем). Имеет дома в нескольких городах, в коих домах не живёт.

Вооружён и весьма опасен. Излюбленное оружие – посох или горецкий топорик *item valaschka*. Владеет мастерски. Весьма возможно, что с некоторых пор имеет меч (свидетельства очевидцев). При задержании соблюдать максимальную осторожность, в ближний бой вступать возбраняется категорически.

Особые приметы: имеет длинный шрам на левой руке (плечо, предплечье и кисть), второй над левою ключицею и третий, малый, справа на виске. Большой рубец есть также и на спине (предп. от удара топором или валашкой). Если устаёт, то хромот на правую ногу. Играет на музыкальных инструментах посредством дутья. Не различает цвета (кр. и зел.). Не любит дыма табака. Общества бежит, предпочитает одиночество. Характер прескверный. Не женат».

Досье впечатляло, если не сказать больше – мало кто из еретиков мог похвастаться таким обширным «послужным списком». Томас отложил исписанный лист и стал всматриваться в рисунок. За этим занятием и застал его вернувшийся брат Себастьян.

– Я вижу, этот листок бумаги снова не даёт тебе покоя, – сказал с порога он.

– Д-да, но не совсем. Я восхищаюсь вашей п-проницательностью, брат Себастьян, – смущённо сказал тот. – Что навело вас на м-мысль нарисовать такой портрет?

Священник подошёл к камину, протянул ладони над огнём.

– О, это моя собственная идея, – с оттенком гордости ответил он. – Мне кажется, что этот метод со временем станет достойным подспорьем в поиске и разоблачении преступников и еретиков. Конечно, не всегда рядом может оказаться толковый рисовальщик, но вполне можно содержать такого при тюрьме и канцелярии. Сам посуди, сколь много удалось узнать нам благодаря всего лишь навсего бумажному листку. Что толку в описании преступника, если никто не умеет читать?

– Д-да, это верно. Однако это же не помогло нам разузнать, где он живёт.

<sup>10</sup> Область в Валахии.

<sup>11</sup> Присвоил противозаконно (лат.).

– О да, не помогло, – признал брат Себастьян. – Зато, на нашу удачу, тот мальчик оставляет за собой довольно ясный след. – Он вновь поймал взгляд Томаса, направленный на травников портрет. Нахмурился.

– Что-нибудь не так?

– Н-не знаю, – Томас опустил глаза. – Мне всё время кажется, что мы что-то делаем не так. Ведь этот Фриц, он всего-навсего мальчишка. Он даже младше меня.

– Даже если так, что это меняет? Если в детстве он разыгрывает дьяволёнка, то чего тогда ждать от него в старости? Или ты считаешь, будто юный возраст может оправдать то зло, которое он совершает?

– Н-не знаю, – признал Томас. – Нет, наверное. П-парнишка явно одержим. Но вот этот травник... Зачем мы так упорно ищем и преследуем его? Не дьявол же он, в самом деле. Или действительно д-дьявол?

– Дьявол? – хмыкнул брат Себастьян. – Нет, конечно. Слишком много чести. Обыкновенный валашский разбойник. Да и навряд ли Люцифер являлся бы средь бела дня.

– Т-тогда в чём опасность т-таких знахарей, как он?

– Опасность в том, что люди, подобные ему, расшатывают сам фундамент церкви, уподобляясь дровосеку, рубящему сук, на котором он сидит. Не имея никакого основания на то, они присваивают самовольно право исцелять и совершать обряды, и разве что не отпускать грехи. Отсюда разложение и спесь, а с церковью уже никто не считается. Взгляни, что делается всюду и вокруг тебя. Мирская жизнь пронизана религией во всех своих проявлениях и сферах.

– Да, но разве это плохо?

– Не плохо и не хорошо. – Брат Себастьян остановился у окна, как незадолго до него стоял его ученик, и продолжил, созерцая дождь, бегущий по стеклу. – Деревенские знахари врачуют страждущих молитвой наравне с бесовским заговором, цирюльники рвут зубы и пускают кровь, призывая в помощь святую Аполлонию и святого Христофора. Ведь до чего дошло – святых используют не как заступников пред богом, а как звено при исцелении вообще! В лотерее в Бергене-на-Зооме вместе с ценными призами разыгрываются индульгенции. Святые таинства перестают быть таковыми, а порою принимают формы попросту бесстыдные. Вспомни, Томас, ты ведь сам неоднократно видел местные поделки «Hansje in den kelder», то бишь «Гансик в погребке», как их здесь называют – статуэтки Девы Марии, у которой можно распахнуть чрево и внутри увидеть изображение Троицы.

Брат Томас покраснел и сделал вид, что занят своим пером.

– Да, это в самом деле выглядит н-неблагочестиво, – признал он. – Столь фамильярное отношение к сакральному з-заслуживает всяческого порицания.

– Что? – брат Себастьян обернулся. – О, дело совсем не в том, как народ видит Пресвятую Деву. Пускай бы даже так. Подобные статуэтки есть даже в монастыре кармелиток в Париже. Но вот само изображение Троицы в виде плода чрева Марии представляет ересь. И так везде. Гийом Дюфай перелагает в мессы всякие мирские песенки, навроде «L'omme arme» или «Tant je me deduis»... А эти богомерзкие мотеты, когда слова подобных песенок, таких как, скажем, «Baisez-moi, rougez nez», вплетают в тексты литургии!? Народ Божий всё больше наклоняется к торговле, к междоусобицам, в городах уже не только изъясняются, но даже и пишут на вульгарных наречиях. Уж не из этого ли проистекает вредное желание переложить Священное Писание с латыни на мирской язык? Вот главная причина ереси! Что будет с верой, если Библию начнут читать и толковать все, кому не лень – и угольщик, и трубочист, и свинопас?

– Свинопасы не умеют читать.

– Не важно. Так во всём. По праздникам на мессу ходят лишь немногие, и мало кто дослушивает её до конца. Коснутся пальцами святой воды, приложатся к иконе и уходят. Молодёжь редко посещает церковь, да и то лишь затем, чтобы пялить глаза на женщин. Церковь стала домом свиданий! Что останется от церковной мистерии, если искупление грехов сочетается



с домашней работой: растопить печь, подоить корову, почистить горшки? Упадок, сын мой, мерзостный упадок:

*Бывало, в прежние года  
Во храм вступали неизменно,  
Со благочестием всегда  
Пред алтарём встав на колени.  
И обнажив главу смиренно;  
А ныне, что скотина, всяк  
Прёт к алтарю обыкновенно,  
Не снявши шапку иль колпак!*

– Но разве в м-мирскую жизнь не д-должно входить истолкование земного посредством небесного?

– О да, естественно, но в этом нету ничего предосудительного, если человек для выражения своих чувств использует язык Священного Писания. Ведь вспомни, когда Фридрих и Максимилиан въезжали в Брюссель с маленьким государем Филиппом, горожане со слезами на глазах говорили друг другу: «Veez-ci figure de la Trinite, le Pere, le Fils et Sancte Esprit»!<sup>12</sup>

Брат Томас промолчал. Расправил на столе рисунок.

– Я чувствую его, – сказал он наконец, глядя на изображение травника. – Он где-то здесь, недалеко, а иногда, когда я гляжу на этот портрет, мне кажется, будто он где-то рядом. Иногда мне почему-то кажется, что он... тоже ищет нас.

Брат Себастьян вздохнул и ободряюще положил ему руку на плечо.

– Будь крепок духом, Томас, черпай мужество в достойном подражания примере Инститора<sup>13</sup>. Мы движемся по верному пути, не смотри назад: за нами не солдаты, за нами – сила нашей правоты. Мы найдём их. В этом наша миссия от Бога, папы и от короля. Не бойся собственных сомнений, сомнения опасны лишь для того, кто бежит Всевышнего, у всех же остальных сомнения только укрепляют веру. Хотя тебе ли сомневаться в собственной стезе? Я сам свидетель, что в твоём присутствии неоднократно совершались чудеса, иконы источали миро, и распятия кровоточили настоящей кровью – это ли не знак, что на тебе лежит благоволение Всевышнего?

Брат Томас не ответил. Воцарилась тишина, лишь дождь стучал в окно да потрескивал огонь в камине.

Травник пристально смотрел на них свинцовым прищуром карандашного рисунка.

\* \* \*

Свадьба.

Запоздалый поезд вывернул из-за поворота разукрашенными экипажами и теперь катился к Ялке, с гомоном, гульбой, со звоном бубенцов и песнями цыган. Возок, коляска с молодыми, две двуколки и фургон. Скрипки, дудки, барабан, цимбалы, истошные взвизги гармоник – музыка сливалась в нестройный, но весёленький мотивчик, поверх которого орали песню, разухабисто и пьяно. Ялка отступила в сторону.

В глазах у девушки была усталость. Две последние недели Ялка провела в дороге, изредка ночуя на постоялых дворах. Лишь раз её пустила на постой сердобольная крестьянка. Ночевать

---

<sup>12</sup> «Смотрите, вот Святая Троица – Отец, Сын и Дух Святой!» (фр.).

<sup>13</sup> Генрих Крамер (Инститор) и Якоб Шпренгер – авторы «Malleus Maleficarum» («Молот ведьм») – трактата по демонологии и о надлежащих мерах преследования ведьм.

в лесу становилось всё тяжелей и неприятней: наступали холода, и если не находилось шалаша, то не спасали ни костёр, ни тёплая одежда. А три дня тому назад у девушки открылась кровь, и, как всегда, не вовремя. То ли от холода, то ли из-за тягот пути месячные очищения прошли особенно болезненно. Ялка поначалу стоически держалась, но потом дожди и холод всё-таки загнали девушку на постоянный двор, уйти с которого она в себе сил не нашла. Пришлось снять комнату и три дня отлёживаться и отстирывать бельё. На проживание и стол ушли все деньги, благо сердобольная хозяйюшка не стала брать с неё за мыло и за воду. Всё это время Ялка не могла ни о чём думать, и даже вязание валилось у неё из рук. Но нет худа без добра: вынужденная передышка пошла ей на пользу – за две недели странствий девушка успела основательно запачкаться, одежда, пыльная и грязная, порвалась в нескольких местах. Ещё немного, и Ялка стала бы сама себе противна. Трактирщик, вопреки традиции, содержал при постоялом дворе маленькую баню, и Ялка, вставши на ноги, использовала всё свободное время на то, чтобы привести себя в порядок, затем расплатилась за постой и побрела дальше.

Везде, где она проходила: в деревнях, на постоянных дворах, в трактирах, у колодцев и на мельницах, – спрашивала она про рыжего травника.

Говорили разное. Одни плевались и крестились, кто-то пожимал плечами, кто-то отводил глаза, а кто-то вспоминал, что видел травника, когда тот лечил кого-то где-то. А в одном трактире, где селяне из окрестных деревень гуляли праздник, обронённые девчушкой робкие слова спровоцировали долгий спор с последующим мордобоем и, как водится, последующим же примирением.

– Ха! – заявил ей в кабаке подвыпивший крестьянин в драном кожухе, чадя огромной трубкой и всё время сплёвывая себе под ноги. – А, как же, девка, знаем, слыхивали! Лис, он, значит, и есть такой. Лукавый, значит.

Собутыльники вмешались, сперва спокойно, потом расходясь всё сильнее, ругались, спорили до хрипоты, махали руками друг у друга перед носом и крутили кукиши, расплёскивая пиво. Ялка сидела между ними ни жива ни мертва, сжимаясь в комок и стараясь быть незаметнее.

А спор становился всё жарче. Лис? Ого-го, а как же, слыхали! Ходит рыжий, пользует людей, а как же! Кто не слышал-то? Случается, встречаются его, и в лесах, и в городах. Он-то себя особо не кажет, человеком прикидывается, а как глянешь на него исподтишка, так у его и морда лисья, и повадки тоже лисьи, волос рыжий, как у лиса, и вообще он как лиса. Да только сразу и не распознаешь. Лукавый? Нечистый? Да бог его знает! Нас не касается, ин ладно. Ходит себе, кого-то лечит, кого-то калечит, в лечение душу вложит, в драке дух вышибет. Потому и зовут его ещё так: Жёглый, Рудый, Райник-лис... А зачем он тебе, девка, а, идёшь ты пляшешь? Всё одно найти не сможешь, сколько б ни искала, потому как, бают люди, он будущее чует наперёд и всякую опасность распознать сумеет, будь то, скажем, там, силок или капкан, и в землю видит в глубину на два аршина, и охотников за десять вёрст учует. Ага, такой уж он, такой, ага – в огне не тонет, в воде не горит! Хох, стало быть, подыдем кружки за него!

«Ага, – встревал другой, – ещё чего придумал! За всякую нечисть пить? Вот я те шас как подыму!»

«А чё?»

«Да ничё!»

«Да я!...»

«Да ты?...»

«Да я тебе...»

«Ну что «ты мне», ну что? Ага?»

Пошла потеха...

Ялка слушала и замирала, сердцем чувствуя: и вроде, то, а всё-таки – не то. Деревенские байки всё коверкали, лукавили, переиначивали, как бог на душу положит, где-то прямо, кое-где – наоборот, а иногда и вовсе наизнанку.

Ногами кверху.

Похоже, что за травника принимали всех, кого ни попадя. Окончания спора Ялка не стала дожидаться и, когда стали биться первые кружки, тихонько выскользнула прочь.

Может, в спорах и рождается истина, но уж больно долго длятся роды.

В другой раз ей чуть было не повезло. В очередной деревне, в первом же дворе, где девушка сподобилась спросить, не видели ли травника такого и такого-то, мужчина, коловший дрова, лишь отмахнулся и ответил ей: «Вон там он», и указал топором.

Ялка не поверила своим ушам.

– Что значит «там»? – с замирающим сердцем переспросила она. – В той стороне, да?

– Да ты глухая, что ли? – недовольно повторил крестьянин, опуская топор. – Вон в этом доме он, под вязами. Вчера припёрся, лис проклятый, до сих пор у них торчит. Эх, если бы не Генрих с братьями евонными... Эй, ты куда?

Но Ялка уже его не слушала: ноги сами понесли её к указанному дому, только башмаки застучали по мёрзлой земле. Крестьянин с изумлением посмотрел ей вслед, покачал головой.

– Вот дунула, скаженная, – пробормотал он. – Тьфу!

И с треском расколол очередной чурбак.

Подворье было крытое, большое. Аккуратный белёный дом стоял наособицу и смотрелся как пристройка к хлеву и сараям. Вязы около него росли и вправду старые, раскидистые, но все уже почти облетевшие. В окошках зажигался свет, смеркалось, изнутри чуть слышно доносились звуки суеты. На стук не открывали долго, а когда открыли, Ялка обнаружила перед собой розовощёкого и высоченного парня лет двадцати пяти, сиявшего, как медный таз. Парень, видно, вышел в темноту из освещённой комнаты и потому не видел дальше собственного носа. По лицу его блуждала глуповатая улыбка, и он, похоже, не сразу сообразил, кто и зачем пришёл.

– Кто тут? – спросил он, поднимая масляную лампу. – Сусанна, ты, что ли?

– Простите, – робко отозвалась Ялка, – я спросить хотела... Добрый вечер, – запоздало поздоровалась она, когда фонарь приблизился к её лицу. – Мне нужен знахарь. Мне сказали, что он тут...

– Э, да ты не местная! – внезапно неизвестно почему обрадовался парень. – А ну, заходи!

– Это зачем? – насторожилась Ялка. – Мне не надо... Я спросить...

– Заходи, заходи! – парень замахал рукой, не переставая улыбаться, обернулся: – Мадлена, Вильма, идите скорей сюда!

– Чего там? – отозвался женский голосок.

– Да гостя же пришла, как обещали!

– Ну?!

– Ага! Да где вы там вошкаетесь?

За спиной у парня объявилась девушка, настолько на него похожая, что Ялка сразу поняла: сестра. Ровесница, а может, старшая. Её лицо при виде Ялки озарилось настолько неподдельной радостью, что Ялка растерялась окончательно и безропотно позволила взять себя за руку и увлечь в натопленную горницу. Дом встретил девушку теплом и паром, мокрым запахом пелёнок, молока и звонким детским плачем. Не слушая ни возражений, ни вопросов, хозяйка усадили её возле печки, где теплей, и долго потчевали всякими закусками, поили молоком, а после спросили, как её зовут.

И при этом почему-то сразу замолчали, насторожённо глядя ей в глаза.

Ялка назвалась, подозревая в глубине души, что вот теперь-то всё и выяснится, и её, которую здесь явно приняли за другую, с позором прогонят. Но прогонять не стали, наоборот – переглянулись и заулыбались.

- А что, – сказал румяный парень, – хорошее имя. Редкое.
- Пусть будет Ялкой, – согласилась с ним сестра.

А вторая девушка, которая сидела на кровати, измождённая и бледная, но не печальная, наоборот – счастливая, только кивнула и продолжила качать колыбель. Казалось, тихое счастье наполняет этот дом, внезапное, неожиданное и оттого ещё более ценное. Теперь Ялку уже выслушали внимательно, ответили на все вопросы и немного посмеялись над её растерянностью. Всё объяснилось просто. Вчерашним днём Мадлена разрешилась родами, но роды были первыми и шли так тяжело, что все подумали – умрёт. Да и, наверно, впрямь бы умерла, кабы не знахарь, что пришёл, помог принять да выходил и мамку, и ребёнка. Что? Да, был тут знахарь с травами. Да, рыжий. Да, со шрамом на виске, не помним, на каком. Был, но ушёл. Сегодня утром, едва убедился, что с ребёнком всё в порядке. Нет, он сам пришёл, не звал его никто. Куда ушёл? Не знаем, куда ушёл. Сперва хотели в честь него новорожденного назвать, да он им не назвался, усмехнулся только. Девка, говорит, у вас родится, и не с моим корявым прозвищем ей век коротать. И прав ведь оказался – вон она лежит, качается, красавица... А напоследок, уходя, сказал, что если кто до вечера в ворота постучится, женщина какая незнакомая, то имя у неё спросите и девочку потом так назовите.

Так и сделали.

Ялка кусала губы и была готова от досады разреветься: опоздала! Но нелепо было плакать в этом доме, куда вместо ожидаемой смерти пришла новая жизнь. Скоро она успокоилась, да и поздно было бежать и догонять. Куда? Кого?

Зачем?

Так она и сидела, запивая слёзы кипячёным молоком и слушая рассказы про здешнее житьё-бытьё. Хозяева постелили ей лучшую постель, она заночевала на этой гостеприимной ферме под старыми вязами, а потом, уступая настойчивым просьбам, задержалась ещё на два дня – на крестины ребёнка. Связала для новорожденной пару чепчиков и тёплых башмачков, пожелала ей вырасти хорошей девочкой, найти богатого жениха и прожить двести лет и отправилась дальше.

За эти две недели она многое успела повидать и многое услышать. По осени дороги опустели, но не очень. Тут и там скрипели возы. Месили грязь паломники. Гуськом, держась за впереди идущего, брели во тьму слепцы. Звеня бубенчиком и прикрывая лица, медленно тащились прокажённые. То и дело попадались небольшие отряды солдат; девушка пряталась от них. Она шла мимо бедных деревень, где не было даже заборов, а единственная целая крыша была на церкви. Шла мимо деревень богатых, где стада свиней блаженно хрюкали под поредевшим пологом дубрав, трещали желудями, даже не догадываясь, что с приходом холодов почти все они лягут под нож мясника. Шла вдоль каналов, где последние баржи спешили к морю, чтоб успеть до ледостава. Шла мимо сжатых яровых и зеленеющих озимых, мимо грушевых садов, где в траве ещё находились подгнившие сморщенные паданцы, чёрные и твёрдые как камни, сбивала палкой грецкие орехи с макушек высоченных старых деревьев, куда побоялись забраться мальчишки. Два раза повстречав монахов, просила у святых отцов благословения и получала его. Дважды же её дорога пересеклась с чьими-то похоронами. Теперь навстречу ей катила свадьба. Запоздалая, урвавшая хороший день и потому весёлая донельзя.

Возок с коляскою приблизились, притормозили возле девушки. Остановились.

Невеста была темноволоса, миловидна, с синими глазами и большим ртом, который, правда, совсем её не портил, тем более что зубы у девчонки были – загляденье и она охотно и много улыбалась. Ялка испытала лёгкий укол зависти: зубы её были местом, больным во всех смыслах. Жених же, на её взгляд, был сущим деревенским валенком – кудрявый, коренастый, лопоухий, как горшок, и конопатый. Но вместе оба выглядели славно и смотрели весело. Наверное, правду говорят в народе, будто любят не за красоту...

Кто-то из гостей и пара музыкантов соскочили к Ялке: «Эй, девка, к нам иди – гуляем снова!», со смехом закружили в танце, нацедили ей вина в подставленную кружку – выпить за здоровье молодых. Обычай нарушать не стоило, и Ялка выпила. Даже сплясала немного с тем, кто потрезвей. Ещё через минуту поезд тронулся, и лишь цыганская кибитка не спешила в путь. Одна цыганка, ещё девушка, черноволосая, задорная и плутоватая, спрыгнула до Ялки, зазвенела монистами, взвихрила юбками пыль, ухватила за руку: «А дай погадаю, всю правду скажу, врать не стану: где живёшь, куда пойдёшь, где милого найдёшь! А ждёт тебя, милая, ждёт тебя, красавица...»

Глянула ей на ладонь – и осеклась, как подавилась.

Даже в кибитке замолчали.

– Так где мне его искать? – спросила Ялка. Хмель гулял в голове, ей хотелось смеяться. – А?

– Нигде! – выпалила та и отпустила её руку. Развернувшись, прыгнула, как кошка, только пятки голые сверкнули, и затерялась среди своих. Возница – бородач в жилетке цвета выцветшей листвы – посмотрел на Ялку как-то странно, пожевал губами, тронул вожжи, и кибитка покатила дальше в настороженном молчании и грохоте колёс, оставив Ялку на дороге, вновь одну, в смятении и растерянности. И лишь когда она отъехала шагов на пятьдесят, опять заиграла музыка – сначала робко, только скрипка застонала, а потом и остальные бубны-барабаны.

А Ялка всё стояла и смотрела ей вслед, и по щекам её текли слёзы.

Свадьба...

Она ненавидела свадьбы.

\* \* \*

Фридрих не сопротивлялся, когда его подталкивали к дому, просто ноги не хотели двигаться. Человек, которого ударил Шнырь, был ещё жив. Четыре мужика подняли тяжёлое податливое тело, потащили в корчму. Кровь на малиновом кунтуше не была видна, только вода и грязь, но лужицы на всём пути к трактиру замутило красным. Кто-то побежал нарвать бинтов, две бабы кинулись к колодцу за водой. Фриц тупо глядел перед собой, на кровь, на тело на чужих руках. Горох с лепёшками подпрыгнули в желудке, Фриц согнулся пополам, и его вывернуло прямо на крыльце. При виде этого хозяин совсем озверел и наградил его таким тычком, что мальчишка влетел в трактир и растянулся на полу. Там его вырвало ещё раз. Что-то мерзкое, сосущее ворочалось в желудке, сдавливало грудь и мешало дышать. Фриц разревелись, размазывая грязь и слёзы по щекам.

Раненого меж тем уложили на скамью, стянули с него верхнюю одежду и захлопотали, споря, рвать или не рвать на тряпки простыню.

Мальчишку заперли в чулане.

В глухом закутке под лестницей было пыльно и темно. Фриц опустился прямо на пол, мокрый и замёрзший, долго хлюпал носом, изредка прислушиваясь к беготне за стенкой. Потом стал колотиться в двери и кричать. Чей-то голос из корчмы пообещал, что сам его пристукнет, если тот ещё раз запищит, велел сидеть тихо, и Фриц умолк, оставшись наедине с темнотой и тяжестью в груди, которая давила как бы изнутри. Мальчишке сделалось не по себе. Он мог представить, как ударит человека, смог однажды броситься с ножом на стражника с монахом, преграждавших путь к свободе, но никогда не видел сам, как убивают людей – кроваво, грязно, подло.

Ни за что.

В щели меж досками тянуло сквозняком, промокший Фриц стал замерзать. Темнота смыкалась и душила – Фриц на самом деле начал задыхаться, судорожно шаря по сторонам и обрубывая на себя мешки, корзины с луком и какое-то тряпье. На миг ему представилось, что он

похоронен заживо. Он забился, словно птица в ловушке, и замер, как парализованный, когда вдруг понял, что сдавило грудь и мерзко, холодно ворочалось внутри. То было чувство, которого он раньше почему-то не испытывал.

Это был страх.

Настоящий.

– Отходит, – еле слышно донеслось из-за стены. Фриц вздрогнул и перекрестился. Сказали это тихо, но в корчме все услышали и сразу примолкли. – Царство ему небесное... Как звать-то хоть его?

– Да кто ж знает, я никогда его не видел здесь.

– И я.

– И я.

Опять молчание.

– Он, что же, без прислуги?

– Выходит, что без прислуги. Посмотри в его мешках, может, сыщется какая-то бумага.

– Надоть бы за священником сгонять. А?

– Надо бы, конечно... А, поздно...

Уличная дверь внезапно хлопнула, и в «Трёх ступеньках» воцарилась тишина. Никто не кашлянул, не двинулся, и только дождь шуршал по крыше. Даже Фриц перестал всхлипывать и с недоумением прислушался.

– Грейте воду, – распорядился кто-то хриплым, простуженным голосом с акцентом горца с юга. – Быстро. И погасите трубки, и так нечем дышать! Откройте окно.

– Дык ведь... не открывается, – сказал хозяин. – На зиму забили.

– Тогда дверь, – невозмутимо заявил пришелец. Что-то мокрое упало на пол. Зашуршало. Подвинули стол. Протрезвевшие гуртовщики зашептались, кто-то ахнул. Томительные полчаса прошли в глухой тиши, потом что-то крикнули – протяжными, незнакомыми, какими-то *горящими* словами – и вдруг раздался стон, переходящий в хриплый кашель. Толпа встревоженно и приглушённо загудела, будто пчёлы в зимнем улье. Зашаркали подошвы, словно люди расступались перед кем-то и смыкались за его спиной.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.